БОЛЕСЛАВЛЕВ.

ИСТОРИИ ОДНОГО ДНЯ

А. ШАБАНОВ

МОСКВА
«ГРАЖДАНСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ — ПРАВО,
ЖИЗНЬ И ДОСТОИНСТВО»
2018 г.

УДК 82-312.2
ББК 84(2)6
Ш 13

Литературно-художественное издание

А. Ю. Шабанов

Болеславлев.
Истории одного дня

Корректор Дмитрий Кочетков
Художник Maria Shabanova
Вёрстка Дарья Рыжова

Шабанов А. Ю.
Ш 13 Болеславлев. Истории одного дня / А. Ю. Шабанов . — М.: «Гражданская преемственность — право, жизнь и достоинство», 2018 — 114 с.

Издатель: общественная организация
«Гражданская преемственность — право, жизнь и достоинство»
Лучников переулок, д. 4, комната 1
101000 Москва
Тел. 8-495-625-06-67

Тираж 1000 экз.

ISBN 978-5-905559-14-3
© Прот. Шабанов А.
Предисловие: © РОО «Гражданская преемственность», Коган-Ясный В.В

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Мы издаём повесть Александра Шабанова «Болеславлев», потому что и автор, и его необычное для нашего времени художественное произведение близки нам по духу. Повесть современна, но совершенно чужда постмодернизма с его высокомерием и «троллингом» жизни. Как всякое хорошее литературное произведение, это притча, сфокусированная на нравственных проблемах в их многообразии. Проблемы гражданственности — неизбежная, хотя нередко мало заметная часть нравственной проблематики. Все взаимосвязано.

Повесть отражает проблемы преемственности в образе жизни, культуре и, самое главное, в нравственности между девятнадцатым веком и сегодняшним днем. Эту преемственность очень непросто обнаружить в текущей повседневности, но, казалось бы, самые мелочи повествования о ней говорят, — говорят о связи сиюминутного, исторического и вечного, и для нас это очень важно.

Туман поднимался над Волгой и Тверцой. В месте, где тверецкие волны растворялись в волжских, туман, казалось, клубился, расширяясь плотным облаком, и забирался на зелёные берега. Июльские росы, тяжёлые и прозрачные, пока ещё лежали на земле и наполняли ранние часы своей свежестью. Это только кажется, что пахнут лишь одни травы и молодая листва. Поблёскивали, дышали и раскрашивали аромат утра сами росы. Протоиерей Василий Фёдорович Болеславлев вышел из дома, спустился к набережной. С минуту он постоял, приветливо озирая ранний тверской пейзаж, перекрестился, кивнув куполам и крестам Екатерины и Отроча, улыбнулся одной из своих только что пойманных мыслей.

Последняя была отложена для странички вечернего или, чаще, ночного дневника. Но день только начинался, а мысль показалась ему вполне простой, ясной, так что священник не принялся искать в карманах рясы обычный карандашик и листки поминальных записок. Порой, такая сложилась привычка, на обороте «заупокойных» Болеславлев записывал разную всячи-

ну. Удобно: помолишься за усопших, перевернёшь бумажечку, которую он никогда не спешил сразу выбрасывать, и что-нибудь про живых черкнёшь.

Он шёл к себе во Владимирскую. Особо не спешил. Знал, что без него ни молебен служить, ни двор мести, ни даже цветы поливать в ограде никто не станет. «Неторопливый, задумчивый такой у меня приход, — говорил себе священник. — С ленцой, впрочем, как и я сам». Путь его спотыкался между переулками и упирался в урочище Миллионной, где построили не так уж и давно небольшой, уютный храм. Прежде там служил вторым священником его покойный отец Фёдор Иванович, теперь настоятельствовал Болеславлев.

Тверь протоиерей Василий и любил, и не жаловал. Вернее сказать, он иногда сердился на этот красивый, но какой-то бестолковый город. Ему казалось, что тверитяне живут, словно на кого-то недоумённо обижены, на всё сразу раздражены, отчего невпопад то кисло-унылы, то нервозно-веселы. Улыбаются — и то полуухмылкой. Одним словом — недоверчивые люди. К священникам городским относились по-разному. И народ был, конечно, пёстрый: русские, карелы, цыгане, и духовенство многообразных кровей, привычек и манер. Особо учёных в провинции не держали, образованных уважали, необщительных, жадноватых, почитая сан, терпели, но как людей за спиной, называли «обирухами» и «гривастыми». Про настоятеля Трёх-исповедниковской церкви поговаривали: «В облачении он ангел, а в кафтане — полковник». Особенно не жаловали гордых. Посмеивались: «Вон, гляди, блиннохват пошёл» или «Наш-то шутейник чудит с Масленицы, но всё одно хороший, в Бога

верует». К выпивохам из духовных были снисходительны и даже нежны, зная на собственном опыте все восторги и гулкие бездны бродяжного недуга. Восхищались особой поповской сметливостью и обескураживающей, как им казалось, богословской находчивостью.

Однажды Болеславлева растрогал даже не сам рассказ, довольно грубоватый и вздорный по содержанию, сколь умилительная интонация православного мужичка, такого с задорным прищуром, сообщившего про одного общего знакомого сельского иерея: «Наш отец-то родной, ладный такой, пастырь, как Соломон, мудрый и рассудительный. Я ему грехи свои на исповеди сдаю и говорю промежду прочего:

— Вот вышло, батюшкó, искушение такое. Сам не знаю, как, а умыкнул с господского поля возок сена. Бес, верно, попутал. Каюсь.

Он меня послушал, внимательно оглядел, по сторонам (прихожане недалеко стояли) очами повёл и спрашивает:

— А где, милый, у тебя тот возок припрятан?

— В сарае, конечно, — говорю, — от греха подальше сховал.

— От греха не скроешь, грех надо изживать, бороться с ним и помыслами его. Хочешь прощения и разрешения?

— Отчего же не хочу? — отвечаю. — Очень даже не против.

— Так вот, — поучает духовный, — привези мне половину сена, и Бог тебя простит».

Во всё свое скуластое калмыковатое лицо мужичок улыбался и довольно почёсывал жидкую бородёнку.

— Привёз? — устало поинтересовался Болеславлев.

— Так конечно. Зачем Господа сердить? Ровно половину доставил. Вместе потом обмыли приобретение. У бар добра много. Надо им помогать делиться на этом свете, чтобы на том, — мужик многозначительно закатил глаза и поднял указательный палец вверх, — было чем оправдаться.

— Да какое же им оправдание? — совсем растерялся протоиерей.

— А такое, — уверенно завершил поучение крестьянин. — Есть (мне духовный объяснил) добродетель «тайное благодеяние». Это когда ты тайно милостыню оказываешь неимущим. Но по какой-то причине сердце твоё ещё жестоко, и, чтобы зачёт у Бога по доброму служению прошёл, тебе нужно расстаться с излишками богатства, которое душу невидимо губит.

В подобных случаях Василий Фёдорович испытывал странное чувство сродни оцепенению. В сознании словно что-то замирало, стопорилось. Бессилие и пустота наполняли его. Да и что тут скажешь, ответишь весёлому по своей глупости человеку? Ничего никому не втолкуешь, не пояснишь, ни с томами церковных Отцов, ни с Писанием, ни даже в самых витиеватых проповедях. Что мы говорить станем, что владыки наши.

«Слава Богу, — эта мысль сопровождалась ещё одним крестным знамением, — Священный Синод в Петровом граде сидит, а не где-нибудь в Охотном ряду». Тут Василий Фёдорович приостановился, охнул: мелькнувшая идея организовала нежданный дыхательный спазм. Мысль окрепла и начала расти далее: «А по стати, — это был уже совсем крутой поворот, — заседать

преосвященным следовало бы вообще в Софии Новгородской или во Пскове. Облюбовали бы владыки, к примеру, Поганкины палаты. Церкви, бани, базар, реку Великую с купальнями — нет, так срубят им мужики — всё рядом. А ещё лучше, — Болеславлев даже зажмурился от неожиданных фантазий, — свезти всех епископов Синода в Изборск. Жили бы они в крепости, молились за высокой стеной, плескались в ключах святых, гуляли вокруг озерца, рыбу себе ловили. Надо вдруг — покалякали о том-сем на бережку. Бог, если Ему не мешать, и так Сам всё устроит. В конце концов, это ведь Его Церковь, а не владычний огород. В Изборске чем ещё хорошо?»

Болеславлев не выдержал и полез в карман искать подходящую «поминальную»: нужно это было уже записывать.

«Хорошо тем, что греков этих немыслимых в Изборске не водилось прежде и сейчас не видать. Светлой памяти митрополит Левшин ведь так и говорил: “Владимир поспешил, а греки слукавили — невежд ненаученных окрестили”. Трувор Рюриковский, конечно, не православный, по букве, но ведь и не из жидов, не магометской веры. Да поди знай, что у него вообще на уме было. Княжил прилично, на могилке крест народ поставил; на басурманина могли бы и плюнуть. Тверские, те точно не замежуются. У нас и Максим сидел, и Филиппа Малюта придушил, а вот на камнях к нам никто и в помине не приплывал. Не Новгород потому что. Камень — это Христос. На нём хочешь — плавай, хочешь — церковь строй. Знак особой заботы».

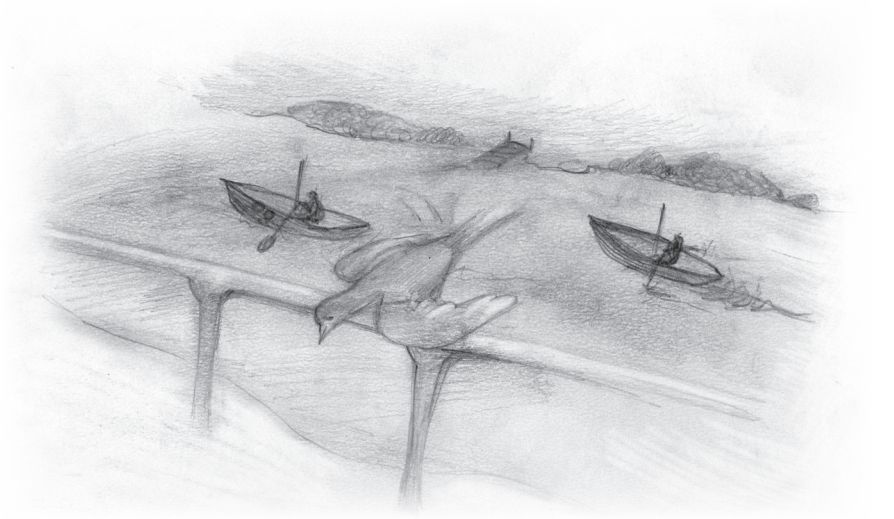
Антоний Римлянин, тот, что до Волхова добрался на куске гранита, часто не давал покоя Болеславле-

ву: например, во сне приснится или в молебных записочках мелькать начнёт, и не к празднику, а так — по своей как будто бы воле. Каждое четвёртое водосвятие — ему.

«Другая Святая Русь, — пробормотал Болеславлев. — Ладно, соберусь, отпишу записочку Остаеву в Кашин, он хоть и гордый, но ума Господь ссудил много. Нынче же вечером и сочиню письмецо».

Владимирская была уже близко. Чернёный, привычный тверской, прорезной, осьмиконечный с полумесяцем крест несколько раз появлялся на фоне светлевшего всё больше и больше неба. Священник осторожно обогнул большую грязную лужу. Накануне ночью хлестал приличный дождик. Поклонился двум барышням в розовых, почти одинакового фасона, платьях, пробиравшимся с противоположной стороны уличной распутины, и, пока тратил время на всякие вежливые жесты, чуть было не попал в среднего размера городское озерцо, на дальнем краю которого сидел, похоже, что голубь. Болеславлев не спеша оценил возможность обхода и этого препятствия, прищурился (зрение уже сдавало) и машинально полез в карман рясы: «Вдруг старая просфора завалялась? Птице отдам». Но при пристальном рассматривании нахохлившегося голубя убедился Василий Фёдорович, что вовсе это и не голубь, а мелкий, пегий какой-то курёнок, угодивший в одну из тверских «дорожных расщелин», — так отец Василий называл рытвины и канавы городских немощёных улиц.

«Ладно, — сказал он птице, ничего не отыскав в кармане, — сиди пока так. Холода придут не скоро, в суп окунут, верно, раньше». Вышел на Миллионную,



там почти никто не обретался. Так, бегали мальчишки, какой-то дед вёл подводу, заваленную старой мебелью, у дверей сидоровской лавки стояли мужики, по виду деревенские. Беспечный шаг Болеславлев сменил на подобающий сану, неторопливый и, размашисто перекрестившись, подошёл к церковной ограде.

Там его уже ждали. Высокий, рябоватый, в холщовой рубашке, грубых штанах, неопределённого цвета сапогах, не подпоясанный и вычурно взлохмаченный, ограду подпирал детина средних лет — псаломщик Саввич. Лицо его было как бы в легком задымлении, точнее, так казалось благодаря мути блуждающего взгляда. К тому же слезились некогда голубые глаза, и две болезни оставили свой влажный след на Саввичевом носу и верхней губе. Причиной первой была простуда, вторая, очевидно, произошла от попыток лечить первую сомнительными настойками. Псалом-

щик ещё не оклемался от простуды, но уже мучился похмельем.

— Утро доброе, отец Василий, — нервно сглотнув, произнёс болящий.

— Ты что, кась эдакая! Вчерашнее уже на сегодня поправить собрался? — шутливо спросил священник.

— Нет уж, отче. С чего мне? Вот, я так вышел подышать, вас встретить и радость сказать.

— Дышать тебе полезно, а радостей твоих я побаиваюсь. Ну? — Болеславлев остановился.

— Вот письмецо, записочку рано утром, наверное, ещё вчера писали, принесли. Прямо из консистории, — псаломщик протянул конверт с епархиальным вензелем.

— Радость с консистории? — протоиерей недоверчиво хмыкнул. — Давай сюда бумагу и ступай на клирос, радость нечаянная, пора уже звонить и облачаться.

Болеславлев повертел в руках нарядный конверт. «Так, — подумал он, — если сейчас вскрою, то ведь прочту и потом всю службу не Богу молиться буду, а про какую-нибудь ерунду или глупость думать придётся. Хор «Иже Херувимы…» поёт, а я деньги на подношения считаю. Искушение же сплошное». Вспомнилась в ту же минуту отцу Василию и недавняя беседа, когда у них дома гостили новоторжский поп Михаил с матушкой Варей.

Михаил тогда, то ли озадаченный, то ли деланно весёлый, вдруг спросил:

— А как ты, отче, думаешь, наш архиерей добрый или блажной какой?

— Про владыку, — ответил Болеславлев, — главное — не думать. Пользы от мыслей этих нет никакой,

а если не остановиться, так только ещё вспотеешь или знобить станет.

— Со страху, что ли?

— Может, со страху, а то и со смеху.

— А вот мне его жалко, — Михаил покачал даже головой. — Сам он по себе чудной и людишек странных рядом с собою держит. То ли для компаний, то ли для контрасту. Как в театре бывает.

— Да с чего ты так считаешь? — осторожничал Болеславлев, вполне понимая, о чём говорит новоторжский священник.

— Ну вот ведь со стороны посмотрят на владыку хоть сановные, хоть простые люди и подумают: надо не надо — улыбается, шутит, как пацанёнок. На своих то орёт, то шипит. Седой, чинный, с посохом дорогим, выезд богатый, лошади отборные. А детей малых за нос хватает, сливы делает, как кухарка девкам у барина. Не поймёшь, где забава пустяковая, а когда шутка шпилькой становится.

Тогда Болеславлев согласился, потому как вспомнил: на Благовещение у благочинного за обедом разговор слышал. За владыку ректор тост произнёс, «Многая лета», как положено, громозвучно пропели, а преосвященный улыбнулся, благостно так на всю братию посмотрел и говорит вдруг: «Вот, отцы, помру скоро, то-то драчка за моё добро у вас случится». Сказал, глаза смеются, и руки так довольно потирает, словно ущипнуть благочинных всех по очереди хочет. Отцы секунд на десять притихли, а после загалдят как: «Да вы, владыко, всех нас переживёте, помилуйте. Куда нам и где? Не приведи Пречистая!» А он себе ухмыляется, глазом так рюмки и стаканы благочиннические

меряет. «Памятливый», — Болеславлев даже крякнул при воспоминании — все в епархии так и говорят: «Память, как у преосвященнейшего».

С предыдущим владыкой тоже бывали разные истории. Не громкие, не скандальные, а так, всё какие-то безобидные, даже милые. То задумается в алтаре и запоёт себе под нос песню на французском и так увлечётся, что в притворе слышен его мягкий тембр. Народ мелко крестится, шушукается, но добродушно не ропщет. Или в Петров пост возьмёт преосвященный и откажется угрём закусывать. Да ладно сам не ест, так велит всё нищим на соборной паперти раздать. Иподиаконы злятся, ворчат. А что делать? Благословение. Выставляют корзину с копчёной рыбой: «Эй, православные! — кричат. — Кто водную змею не боится вкушать, разбирайте владычний подарок». Змеёй православный народ не смутишь. Быстро всё разметают.

Нынешний епископ, конечно, дело другое. Его, может быть, из-за малороссийских кровей в какую-то дурную мистику тянет. Берёт на Малом Входе в руки Евангелие, чтобы протодиакону передать. Замерев, на весу недолго подержит пудовую Книгу, словно вслушивается в собственные ощущения, отдаст и скажет:

— Ну вот, не трясёт же меня, когда Писание несу. Значит, всё в порядке.

— Что, в смысле, в порядке? — недоумённо пробасит протодиакон.

— Я, раз не потряхивает, точно не одержимый, — ответит преосвященный.

— А что, есть сомнения? — уже обходя Престол, уточняет сослужащий.

— Нет, я-то не сомневаюсь. А вот келейник мой вчера так рассерчал, что в лицо бросил: «Ты, владыко, бесом охвачен». Скажу ему, что ошибся. Я грешен, но чистоту Православия храню, и демоны посрамлены.

А ещё был с ним интересный случай, о котором в Петербурге семинаристы почти акафист сложили. Одной болящей женщине, из мещан, на заволжской заставе видение случилось. Во сне к ней пришла Богородица и велела написать Свой особый новый образ «Покровение Твери». Причём именно «Покровение», а не «Покров». Подробно Пречистая указала, каких святых, какие храмы и монастыри на иконе следует расположить. Что за цвета и орнаменты использовать. Болящая рассказала всё приходскому священнику, своему духовнику. Тот пригласил иконописца, и сделали они что-то вроде эскиза. Набросок образа. Принесли для благословения архиерею. И дело было на каком-то епархиальном приёме. Сидели благочинные, чиновные люди, купцы. Епископ благосклонно просителей выслушал, эскиз долго рассматривал, хмуриться начал, под нос себе бормотал, а потом, ко всеобщему удивлению собравшихся, с обидой, если не горечью, в голосе произнес: «Отцы честные! Ваше боголюбие, дорогие вы мои! Ну, посудите, уж коли Божия Матерь захотела городу Свой новый образ явить, куда бы Она пошла? Неужели к бабе простой? Ведь у Пречистой есть я, милостию Божией архиерей. К чему в тёмные сени ходить, раз светлые покои выстроены?» От неожиданности кто-то уронил вилку или нож, кто-то пролил мимо фужера шампанское на скатерть, а те, что посмышлёнее, зашумели: «Конечно, владыченька, знамо дело, прямо бы к вам пришла!»

А ещё Михаил спросил:

— Слушай, отец, а почему думать, ты говоришь, про владыку «не нужно»? Может, по Писанию, грех такой есть?

— Нет, Священной Книге до архиереев дела нет. Она и про Синод ничего не учит. Наш что любит повторять: «Архиереи, они, мол, как дети», — и на евангельское место из Матфея ссылается, где про Царство Небесное сказано то, что оно детям завещано. Так то детям настоящим, а не в ризах предстоящим.

Болеславлев улыбнулся собственному каламбуру и решил: «Вскрою конверт после литургии. Лежала бумага, так ничего с ней и не станет за два часа».

По дороге в консисторию он решил заглянуть в Вознесенский собор. Без особой надежды. Так, на всякий случай. Вдруг там окажется благочинный и можно будет разузнать, за какой нуждой призывают в управление. Дело в том, что время от времени благочинный любил навещать внезапно приходы. Говорил:

— Вот шёл себе мимо, решил от дождя схорониться и попал к вам на службу, а тут такая история, дальше повествование о собственно приключившемся, всякие намёки или угрозы.

Но благочинного не было. Только что закончился молебен, и отец Евстафий, любивший поговорить с простым народом долго, витиевато, как сам определял, «с мосту», затеял проповедь. Всегда интересно послушать собрата не из алтаря, где все обычно болтают о чём-то совершенно постороннем, куда из-за преграды иконостаса и звук толком не доходит, а расслышать так, лицом к лицу. Болеславлев задержался.

Низким густым басом отец Евстафий гудел:

— Братия и сёстры! Вот скоро уже Петров пост! Будем, значит, всем миром, душами и телами говеть во славу Божию! А что ещё делать, дорогие вы мои?

Бабы молча кивали, мужики переминались с ноги на ногу. Слушали.

— Помните, возлюбленные, — проповедник поднял указательный палец правой руки вверх, нацелил в самый купол, — диавол хитёр и никогда не говеет. Пост ему противен, потому как он вообще не ест, не пьёт, не спит, а только и думает, какую нам подлость подстроить и как соблазнить. Он враг, — отец Евстафий погрозил в сторону западной стены собора уже не пальцем, а сжатым кулаком, — лжец и пройдоха! Но мы с вами истинно, в чистоте православной веруем, — голос проповедника неумолимо креп, — что и Бог не дремлет в заботах о своём малом стаде.

— Ну конечно, — Болеславлев вздохнул, — Бог не спит, и ангелы его не храпят.

Неспешно, стараясь не привлекать к себе внимания прихожан, священник начал двигаться к приоткрытой боковой двери храма. Проповедник не умолкал:

— Первый святой пост наши прародители нарушили в Раю. Им было запрещено есть от древа познания, но они вкусили. Не могли, значит, маленько потерпеть. И мы тоже хороши, как Адам с Евой. Не хотим до звезды или воды смиренно потерпеть святые запреты. Мучаемся, нарушаем все каноны и страдаем от своей прихоти. Прародителям нужно было молиться, поститься, а не запретные плоды дерзко рвать. Нам бы сейчас полегче было.

«Хорошее дело, — это уже, оказавшись на улице, сам с собой рассуждал Болеславлев, — к пощению

народ призывать. Но у кого дома стоят разносолы, запасы, а кто не то чтобы устав соблюдать, но с голоду бы не заболеть. Летом в Петровки с этим делом, конечно, проще. Огород кормит. А зимой, на Филипповки или Великим, — тут кто как сможет. У господ мода на пощение то появляется, то исчезает. Как поветрие политическое или гастрономическое. Простой народ считает, что в посты не хорошо, но можно кого-нибудь обругать, если за дело, побоситься, обмануть, но скоромінку не приведи Бог вкусить, даже и случайно. Кто построже — постует сухарями, яичным и житным хлебом. Водки, пива и даже бражки не пьёт вовсе».

Самое сытное у знакомых священника из бедных семей было: находить горох или толокно. Летом варили свекольную ботву. Подавали, если было, квас с капустой, огурцами, луком и теми же намоченными сухарями. Воду, в которой, кстати, сухари размачивали, после не выливали, а остужённую пили. Уха случалась редко. Готовили гречневую, с конопляным и льняным маслом, кашу, картошку, репник. А самые бедные из крестьян, в городе таких почти не было, постились целый год, только в скоромные дни прибеливая свои щи или суп молоком.

Благочинного звали отец Флавиан. Это был малограмотный, но практический малоросс, большой артист зашибить копейку. Даже среди городского духовенства, священников, в целом довольно солидных и самостоятельных, он снискал себе славу коварного и нечистого на руку администратора. Ему свезло: он был глуп, жаден и предприимчив. Благочинническая должность отцом Флавианом была, конечно, куплена.

Если не деньгами, то подарками и большими посулами, и если не лично архиерею, то через епархиального секретаря.

Отец Флавиан быстро выстроил себе в Твери дом — с хорошую купеческую усадьбу. Амбары, курятник, подвалы, конюшня и даже гусятник — всё радовало его южное пастырское сердце достатком, который он предпочитал называть лепотою. Болеславлев считал, что хитрость человеческая проявляется не более чем у мелких умов, но в случае отца Флавиана эта его убеждённость несколько расстраивалась.

Деньги за требы благочинный брал вперёд и таксу назначал сам. Посмотрит на человека, закатит глаза к небу, вздохнёт, словно снял с шеи коромысло, и скажет: «Милостив Господь, долготерпелив, знает наши нужды, промышляет о своих птицах. Так что с вас, ваше боголюбие, червонец ассигнациями и два мешка овса лошадям. Покуда до вас доскачешь, тройка дважды утомиться успеет». И смеётся. Раб Божий на это дивится: «Куда отцу Флавиану скакать? Так, площадь перейти — и всё». Но платит. Если другого попа позовёшь и благочинный прознает, выйдет шум и скандал на весь город.

«Я не хищник, — любил рассуждать священник, — стригу своё с овец своих. Если кого случаем обижу, то ведь ночью плачу, и Господь даёт сердечные слёзы. А без них и молитва не идёт. Ночью погрущу, а заутром Литургию так сладко помолюсь, что камень с души тает». Своим духовным в благочинии он говорил: «Ты, отче, пастырь, и жить лучше простого пастуха тебе нескромно. Радуйся тому, что стадо у тебя городское. Роптать станешь — поговорю с архиепископом, и от-

правишься пасти на деревню, кого там найдёшь — хоть голытьбу, хоть животинку.

Его боялись не столько за дурость, сколько за какое-то уж совсем дикое богословствование. Однажды Болеславлев оказался на службе в соборе, где молилось всё городское духовенство с владыкой. Дело случилось на Преполовение Пятидесятницы, и архиерей, по обычаю, ещё накануне передал Флавиану благословение сказать после запричастного проповедь. Тот, верно, приготовился, написал, дал просмотреть соборному цензору, но когда начал её читать, то, то ли от вдохновения, то ли после хорошей алтарной запивки, в стакан кагора, разошёлся и от себя самого огласил поучение, по какой причине между Пасхой и Троицей нельзя класть земные поклоны.

«И вот, — понизив голос, таинственно говорил Флавиан, — из Предания Священного мы, дорогие, знаем. Дело было утром. У жидов случился свой праздник, а одна баба пошла на речку в Иерусалим полоскать бельё. Тряпок у неё много, все грязные, она их в Йордане полощет себе. Умаялась. Хотела власы свои мокрые со лба стереть, посмотрела на солнце, а перед ней в белой ризе Христос стоит и так глядит сурово. Словно сказать собирается: «Зачем ты, нераскаянная, в моих водах свои тряпки стираешь?» Она тут обомлела, в ноги Спасителю кинулась. Хотела их обнять, но Он исчез. Баба вскочила и, как была полоумная, нечёсаная, бежать к жидам, рассказывать о воскресшем Иисусе. Они перепугались, закричали, — голос Флавиана креп верхними нотами, — в землю бухнулись, дрожат, не помня ни молитв, ни песенок своих. Предание пророчит, что рыба в реке вспять поплыла,

все иерусалимские петухи разом загорланили, а жиды так до Троицы ничком и пролежали! Вот, — довольно завершал рассказ священник, — отчего мы поклонов в Светлые дни и не станем метать».

Люди в храме сочувственно и с пониманием этой проповеди кивали. Собравшееся в алтаре духовенство и владыка, по обычаю, ничего, кроме благочестивых модуляций то взлетающего, то съезжающего голоса проповедника, не слышали, и когда отец Флавиан подошёл к епископу за причитавшейся ему просфорой, то внял обычному: «Спасибо, отец, я толком не понял, о чём ты там проповедовал, но знаю — было всё хорошо».

За глаза благочинного называли Тульский Пряник, хотя родом он был из каких-то житомирских захолустьев и о местоположении Тулы знал очень приблизительно. А дело с прозвищем было так.

Однажды народ прознал о любви его матушки к тем самым пряникам и начал так, без видимого повода приносить дары исключительно этим продуктом. Пришлось Флавиану распорядиться в подклети дома выстроить специальные полки, где эти пряники, словно книги, стояли рядами. Съесть их было невозможно всему благочинническому семейству, даже с житомирскими нахлебниками. Нищим раздать — жалко; в духовное училище, поповским детям, сославшись на грянувший Великий Пост, благочестиво отказались. Так что сохли и плесневели пряники до самой Пасхи, пока ночью, на Великую Субботу, весь этот запас не свезли и не сбросили в Волгу. Рыбам. Или кто-то увидел, или сболтнули Флавиановы домашние, но молва быстро разнеслась, и сами городские священники шу-

тили: «К вам, отче, пряники по воде не пешествовали, яко Израиль древний?»

— Медовые или тульские с повидлом?

— А какие ждёте нынче?

— Упаси Бог, мы больше по калачам и баранкам промышляем.

Благочинному казалось, что он очень сметлив, хитёр и, словно шахматный мудрец, не только умело играет свою партию, но держит под неусыпным присмотром вообще все фигуры на доске. Плохо знавший русскую грамматику, Флавиан подкармливал мелочью одного подьячего в консистории, и его отчёты, совершенно бестолковые, фантастические и просто зачастую лживые, расхваливал перед владыкой тот же секретарь:

— Вот посмотрите, здесь ясность и чистота святого Православия! И всё до копейки посчитано с усердием!

Про себя Болеславлев называл Флавиана «пряником Православия». Он хорошо знал, что малороссийское духовенство в большинстве своём дурно воспитано, высокомерно, обожает разные ими сочинённые обряды и не очень умно. Архиереи из тех земель иногда оказывались совершенной грубятиной. Провинившихся попов отправляли в дальние глухие монастыри, заставляли работать в собственных домах, приказывали сечь плетьми, бить батогами. Похлеще мирян были крепостными. С минувшего века о них шептали в России. Владыка Пахомий Симанский из Тамбова, епископ Владимирский Иероним Формаковский, преосвященный Тимофей Щербацкий и прочие «князья Церкви». Всех помнили. Только при матушке Екатерине Второй, считал Василий Фёдорович, русские архиереи обрели вес и авторитет: Пар-

фений Рапковский, Тихон Задонский, ну и, конечно, особо любимый детьми и многодетными родителями тайный пока ещё святой Платон Левшин, митрополит Московский, успевший, кстати, это особо отмечал Болеславлев, побывать на Тверской кафедре.

Поодиночке малороссы на Русь не хаживали. У Флавиана был брат, помоложе, тоже священник, отец Аполлинарий. Смуглый, дебелый, с чёрной беспорядочной бородой, плутоватыми маслянистыми глазами, которыми он изо всех сил пытался выказывать, когда было нужно, приветливость, когда — подобострастие. Эти глаза Болеславлев знал. Они могли буравить собеседника, словно хотели проникнуть в самую его душу; или затягивались ленивой поволокой безразличия, что кто-то считал углублённой молитвой; часто они бывали бездонно чисты мартовской пустотой весеннего неба. У отца Аполлинария они беспрестанно бегали. Он был в постоянном движении, суете. Всё, что хоть как-то попадало ему в руки, он немедленно объявлял своей собственностью. Говорил: «Для святой Церкви», — и убирал в карман рясы ассигнации и медали. «Во славу Божию! — открывал ворота своего дома и загонял бычка, заводил козу, телегу дров. Всё это «благоприобретённое» кропилось святой водой, иногда окаживалось ладаном, и что-то громко пропевалось. Болеславлев удивлялся: «Как так, наши изобретательные южные гости не сочинили особый молебен “О благополучном приятии нежданных даров”? Ведь целое богословское и акафистное творчество могло бы здесь процвести». Но в Твери вообще-то щедрых людей было немного, можно сказать, смешно как мало. Отъедешь из губернии на

запад к Смоленску или юго-восточнее, во Владимирские земли, — другое дело. А здесь? Болеславлев не жаловался. Так, вздыхал: «Прижимистый, упрямый город. Должен был стать русской столицей — не стал и словно в людях своих затаил обиду на всю остальную страну. Обиду, подозрительность и в результате чёрствость и угрюмость. Он пытался оправдывать свою Родину гнётом монгольских лет, московской подлостью и гибельными для города годами: литовским нашествием и моровой язвой 1655-го, когда в Твери помирал народ так, что живых не хватало для погребения мёртвых.

— Скажи своими словами, — сурово расспрашивал отца Евлампия Бусурманов, — почему мне, консисторскому секретарю, слышишь, — голос отдавал проржавевшим железом, — есть время размышлять над твоими капризными оказиями?

— Позвольте, что? — смущался всё больше священник.

— Я про деньги и твое нытьё. Нету, мол. Знаешь, брат, народ российский и стоит на том, что ещё тыщу лет назад определил как Отче Наш: «Волка ноги кормят!» Традиция, она что? Вечная и незыблемая вещь. Помнишь, в Писании: «Небо пройдёт, земля, а традиция — никогда».

— Помилуйте, Ваше преподобие. Не помню, что так сказано. Небо, земля — было, а «традицию» призабыл.

— Вот так вот вас, неучей, на приходы и ставить. Почитай, самое главное и вон долой. Традиция, — привкус железа усилился, — традиция — это сила, она не сморгнёт. А деньги, брат, они всегда есть. Вот

на тебе камилавка не для красоты иерейской службы, а словно шлем. Водрузил на голову и ходи, думай, где деньги можно сыскать.

Болеславлев знойным летним днём медленно приумораживался. Он, впрочем, всегда немел внутренне, когда перед ним рисовали подобные картинки: народ, традиция, «волка ноги», кормёжка, беготня... Может быть, где-то и правильно. Но то история про зверя, хищника из леса, а не пастыря, который из Евангелия. Там, в Писании, — Болеславлев любил читать на Литургии этот отрывок, — сказано, что священник не «волк, расхищающий стадо», а добрый пастух, Ангел-Хранитель, с хворостиной — да, но это, видимо, больше от мух обмахиваться, чем овец стегать. Кстати, — священник вновь ухватился за одну из тех мыслей-огоньков, которые старался сохранить, — пастырь только пасёт, но кто-то же должен и стричь овец? Ясное дело — не сам пастух. Причём «обдирать», прости Господи, «резать» — это точно про другое.

От пестроты нахлынувших народно-духовных образов Болеславлеву стало вовсе нехорошо. Серый, огромный, с зажатой в зубах пачкой ассигнаций волчища, шныряя вокруг сбившегося в кучу стада белых агнцев, выбегал на большую подлунную дорогу и рычал в сторону мигающих из кустов красных глаз волчищ, митрофорных протоиереев и большущих висящих на заборе консисторских ножниц.

«Похоже на солнечный удар», — подумал про своё состояние Болеславлев. Хотелось пить. Но куда тут денешься. Пришлось ожидать, пока завершится этот странный разговор. Он вдруг — может быть, это было как-то связано с жаждой и той иконой, что висела над

входом в приёмную, — стал размышлять о колодцах. Точнее, об одном, им придуманном. Ещё точнее, так: Болеславлев предположил, что где-то, кем-то, когда-то и с некоей загадочной целью вырыт колодец. Поверх водрузили каменный побелённый навес и приспособление, которое за верёвку поднимало с глубокого колодезного дна самую студёную воду. Там даже льдинки плавали. Пить её было невозможно — настолько сильно обжигал холод, но если некоторое время из ведра поливать самого что ни на есть запылённого, разгорячённого путника, то последний сначала пристывал к земле, а после и вовсе околевал подле колодца. Между двумя этими положениями Болеславлев ясно представлял ещё живого, но уже заиндевевшего человека-ледяка. Стоит, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может, только глазами по сторонам водит. Мычать, тем более говорить — не способен. Хотя и красив. Особенно в лучах поднимающегося или, наоборот, уходящего солнца. Временами одежды его поблёскивают, но оттаять он не в силах, поскольку вода эта и не совсем вода или вода, но не из обычной жизни.

Бусурманов продолжал наставлять Евлампия:

— Ты вот чего, братец. Распутывайся в своих молебнах, литиях, кашу из бороды вычеши и сусеки свои домашние, приходские, тёщины, кумовьи поскреби, а не ветошью протирай. Что-нибудь, глядишь, отколется, соберутся крошки. Вот когда наскоблишь деньгу, тогда и приходи за святыней.

— Да, батюшка, но как же? Тёща. Откуда у неё, вдовой? Мне бы хоть пять капелек, — Евлампий опять протягивал бледного стекла пузырёк, — самую малость, а?

— Ступай, говорю, — раскрасневшийся Бусурманов неотвратимо превращался в рыжего волка. — Шляпу забирай, напылил тут.

Резко потом повернулся, боком миновал священников и исчез в соседней келии.

— Ну вот, — Евлампий развёл руками и растерянно посмотрел на Болеславлева. — Прощайте, отче, пойду лесным зверем по сусекам бегать. Что поделаешь. Каноны, традиции, безденежье.

— Подожди, дорогой, — задержал его Болеславлев. — Я здесь с полчасика побуду и выйду к тебе в консисторский дворик. Ты не спеши. Там под липами пеньки навалены. Посиди покуда.

Отец Евлампий недоверчиво посмотрел на городского протоиерея, но кивнул и отправился в тенистый епархиальный палисадник.

Нужно сказать, что Бусурманов ни дураком, ни злодеем не был. Имел некоторые слабости. Иногда, без всякой видимой причины, впадал в печаль и даже тоску. Становился грустным, глубоко вздыхал, хмуро посматривая по сторонам. «Может быть, занедужил желудком или зубами страдает?» — предполагали в консистории. Дело было не в здоровье, а касалось исключительно денег. Точнее, их временного отсутствия. День, который не приносил хотя бы гривенник, в крайности — пятак, Бусурманов считал пропащим, себя — горемыкой несчастным, забытым Богом, людьми, и душа его не находила себе места.

— Ваше высокопреподобие, — говорила ему сердобольная кухарка, — не изволите ли квасу, чай с бараночками, анисовой рюмочку от хвори или для сварения желудка?

— Какой смысл есть и пить, коли сердце в унынии? Разве поможет душе гастрономия? — тоскливо возражал секретарь доброй женщине. Сидел неподвижно за столом и только вслушивался: не хлопнет ли дверь на лестнице, не пройдёт ли кто за окном. Вдруг какой челобитчик из городских или сельский поп с прошением, даже пустяшным, возьми да заявись.

— А если я вам щей трёхдневных, как любите, принесу, попьёте? — настаивала стряпуха. Он действительно мог залпом именно выпить, а не съесть целый ковш таких щей без хлеба и водки. Но в такие дни воротило даже от такого яства. Отчаявшись, Бусурманов закрывался на ключ, подпирал для верности дверную ручку стулом и ложился спиной на пол. Для размышлений и успокоения. Жёстко и прохладно было ему, но, хотя чувство оставленности усиливалось, мозг напряжённо продолжал работать, искал пути исправления досадного безденежья. С полчасика полежит он так в тишине, и если никто не постучится, не потревожит, то встанет и отправится с суровым видом инспектировать епархиальные кабинеты, кладовки, чуланы. Консисторского народу мало, но, кого встретит, разыщет, тем замечание или внушение сделает. Замки все перепроверит. В домашнем храме переберёт свечки, поищет на иконах пыль и в совершенной тщетности станет трясти церковную кружку для пожертвований. Открыть её он не может, поскольку владыка самолично это делает раз в седмицу. Но бывает, что редко, а звякают там брошенные челобитчиками монеты. Само бренчание медяков Бусурманова как-то успокаивало, примиряло с действительностью.

Ещё переживания у секретаря происходили по поводу, как он сам говорил, «поповского счастья». Ему мерещилось, что народ избирает себе любимчиков и дарит одному священнику кто новую упряжь, кто сахарную или сырную голову, пошивает шёлковые рясы, богатые цветные облачения или отправляет отрезы ткани матушкам этих счастливчиков. Денежные приношения он, узнай случайно, мог бы пресечь или потребовать себе процент. А тут, ну, принесли тому же отцу Василию ведро орловского гречишного мёда, и что? Ложкой в него не залезешь. А козу у многодетного диакона Степана со двора не сведёшь, поскольку — подарок. Вот Бусурманов от такого положения дел и страдал. Однажды ему пришло на ум внушить архиерею мысль о составлении особого реестра. Прописать непосредственно, сколько настоятелю городского или сельского храмов разрешается иметь телег, сараев, сапог и даже шляп. Владыка сначала не понял, к чему такая дотошность, а когда разобрал, то от недоумения только и сказал:

— Ты, отец, математик. Загнул чересчур. Ещё бы детишек считать начал. Ступай со своим реестром. Сделай что-нибудь толковое лучше.

— Что, к примеру? — не понял архиерейского раздражения секретарь. — Может быть, опись у зажиточных священников для порядка составить?

— Это как? — ещё больше удивился епископ. — С розыском придёшь и будешь пересчитывать хозяйство?

— Нет, конечно, — Бусурманов засуетился, — я так, на глазок прикину, да и народ, если поспрашивать, многое расскажет.

— Смотри, как бы тебе этот глазок тот же народ не расквасил, — покачал головой преосвященный.

— Ну, упаси Бог, я знаю, — пустился в заверения любитель посчитать. — У нас люди в Твери любопытные до чужого добра. Попросить если, не откажут.

— Тогда, — подытожил владыка, — начни, брат, со своего двора. Возьми моего конюха в свидетели и всё, как есть, внеси собственноручно в реестр. Будешь первым, как почётный для подражания пример.

Такому обороту разговора секретарь смутился и осторожно покинул архиерейские покои.

Все эти неудачи он переживал, но недолго, считая их своего рода искушениями, попущенными Богом, и оттого сильно не унывал. Полежит на полу — успокоится. Реестр отвергли, он новую идею придумает. Если кто бы спросил его: «Ты зачем, отец, так из кожи вон лезешь?» — ответит: «Ради Церкви Святой». «Но она же тебя о том не просит?» — «Так я сам вижу, что ей нужно». Такой диалог мог выйти. Но никто не спрашивал. Себе дороже. Терпели.

Болеславлев начал разыскивать Бусурманова и довольно быстро обнаружил чиновного священника в огромной светлой трапезной. Тот что-то тщательно жевал. Пахло квашеной капустой, кислым хлебом и жаренной на масле картошкой. На столе перед обедавшим, кроме закусок, стоял зелёный штоф и одна рюмка. «Ага, — подумал священник, — это у них в канцелярии называют перекусом до обеда. Горячее ещё готовят, а так, для “движения мысли”, принято лакомиться».

Владимирского настоятеля Бусурманов недолюбливал и несколько побаивался: во-первых — ум-

ный, во-вторых — грамотный, в-третьих — острый на язык, и самое подозрительное — на всё имеет какие-то евангельские оправдания. Что ему ни скажи, он в ответ: «Наш Учитель несколько иначе это Себе представлял», — или: «Отцы святы, но если попотеть, так любого можно в какой-нибудь ереси обличить». А говорит не хуже Матфея Ржевского и пишет, как этот полоумный калязинский Белюстин.

— Что ваше преподобие до нас привело? — отставив тарелку перекуса, спросил епархиал.

— Проповедь вот пишу, сам знаешь. Наследник к Успению прибудут, и книжка мне нужна из библиотеки. Помнишь, есть такой том Василия Великого, где среди писем святого есть «славным и знатным». Надо перечитать, чтобы конфузу не вышло. Цесаревич у нас грамотный. Сам Филарет его наставляет.

— Филарет, да. Может быть, и есть, — Бусурманов вообще слабо представлял содержимое как библиотеки, так и того, о чём писал святой Василий, но положение обязывало не только надувать щёки, а ещё и сдвигать надбровные дуги, имитируя глубокую задумчивость.

— И вот ещё, — минуя всякую логическую связку, как бы вскользь, случайно, продолжил протоиерей, — на приходе святое миро заканчивается. Так уж не откажи, налей склянку. Целковый я принёс.

Бусурманов просветлел. Его просили, и он мог покапризничать, показать власть.

— Да, конечно, вот доем и посмотрим, чем можно подсобить. Режим питания, как молитва, дело святое. Главное — не нарушать последовательности и кратности. Обождите, отче.

Болеславлев терпеливо ждал, пока чиновник в рясе наливает себе «маленькую», поглощает странное содержимое тарелки какой-то несоразмерной оловянной ложкой, чмокает, вытирает пот со лба, щёк, шеи и разглядывает портрет Императора, висящий над архиерейским креслом во главе широкого трапезного стола. Минут через пятнадцать Бусурманов покончил с перекусом, засуетился, взял деньги и юркнул куда-то под лестницу, то ли в чулан, то ли в кладовую.

Болеславлев отправился к библиотекарю. Там отыскал нужный том святителя, поболтал со стареньким дьячком — отцом Никифором, полистал последние московские альманахи и, наконец дождавшись посыльного с пузырьком Святого Мира, обернул принесённую склянку большим белым носовым платком и вышел к тенистым липам. Отец Евлампий терпеливо ждал. Подошедшему священнику подвинул чурбачок.

— Садитесь, отче. Жарко. Вот у меня с собой квас припасён. Из деревни. Попробуйте.

— Наливай, — Болеславлев кивнул и принял поднесённую кружку. Квас пах хлебом, свежим деревом, какой-то травой и мёдом. На вкус оказался сладковатым, резким.

— Квас у меня знатный, — поспешно стал пояснять отец Евлампий, — специального рецепта. Кладбищенский.

— Что?! — Болеславлев вздрогнул и с недоумением посмотрел на собрата. — Какой, говоришь?

— Ядрёный, домашний, — Евлампий словно и не заметил вопроса. — Настоящий, без примесей. Сам делаю, ну вот и покойники помогают.

— Ты, братец, здоров? — Болеславлев поставил кружку на землю. — Что несёшь, сдурел? Какие покойники?

— Не пугайся, отче. Вот смотри, — отец Евлампий поместил на чурбак бутыль с квасом, повращал её так, что солнце поиграло в золотистом напитке, и рассказал:

— У нас в Заводнево, может, помнишь, кладбище большое. Там, понятно, могилки. И подле многих повыросли огромадные такие берёзы. Рубить их некому, поскольку или родственники все усопших помёрли, или так им складнее кажется. Не знаю. Только по весне, пока огорода нет и дома делать нечего, стал я с тех берёз сок собирать. Подвешиваю крынку или горшок на гвоздик. Мастерю из ветки жёлоб, в стволе дерева вырезаю щель, вставляю желобок, пригибаю над кувшинчиком этим — и готово. Сок льётся. Так бывает до

Страстной, пока народ не повалит к могилам. Кладбище несколько раз обойду. Соберу всё, а перед самой Лазаревой, если, конечно, год не с поздней Пасхалией, поделки свои убираю. Сок — в бадью. Туда же корочки ржаные и прошлогодний мёд. Запечатаю, уберу в погреб, а к Троице квас и готов.

Отец Евлампий довольно цокнул языком и совершенно ошалевшему Болеславлеву, словно сказочную мораль, добавил следующее:

— Виноград у нас, отче, сами знаете, не произрастает или поспеть толком не может, так вот усопшие живых такой берёзовой амброзией и угощают.

Болеславлев совсем обмяк. Дело, конечно, было и в истории с «амброзией», но и в том, что квас этот с погоста оказался не только ядрёным, но и довольно хмельным.

— Ладно, — вздохнул протоиерей, — давай, отец, свою склянку. Миро отолью, здесь обоим хватит.

Священники аккуратно перевернули липовый чурбачок, постелили тот самый белый болеславлевский платок и начали по капельке сцеживать в пузырёчек то, чем все православные «одним мазаны». Солнце жаром дышало в самом своём зените.

Барыня сильно занедужила в пятницу. К вечеру отказалась от ужина, даже чай пить не стала. Приказала принести лимоны, колодезной воды и растереть ноги шерстяными варежками. Сильно кашляла, покрылась капельками испарины. Что-то клокотало у неё в груди. С трудом добралась до божницы, отыскала и сама зажгла великочетверговую свечу в серебряном канделябре. Дольки лимона макала в гречишный мёд, запива-

ла водой и бормотала несуразности. К утру субботы ей полегчало. Потребовала белый хлеб, рюмку полынной настойки и велела звать священника.

— Собороваться будете, матушка, — осторожно спросила её старая служанка из вольноотпущенных Ниловна.

— Вот ещё, — фыркнула Наталья Нифантьевна. — Думаешь, что я помирать собралась. Рано ты меня погребаешь. Поживу, но для порядка надо грехи разрешить и молебен Пантелеймону пропеть. Отправляй к отцу Василию. Пусть в понедельник приходит.

Сообщили о приступе. Болеславлев так и рассчитал, что до обеда заглянет к Аплечеевой, но эта история с консисторской запиской планы его переменила. Не явиться было невозможно. В Твери аплечеевские скандалы знал всякий, да и что-то трогательное, при внешней грубоватости, душевное находил священник в этой чудаковатой женщине. Странности, болезнь, а за ними или через них ясный, в проблесках, ввергавший барыню то в благостные беседы, то в долгие истории ум занимали отца Василия. Он уже более года приходил к ней в дни особого обострения болезни.

Наталья Нифантьевна была, как говорили в народе, «ещё крепкой». Её гнева боялись, от капризов старались спрятаться. Сам воздух в доме был, казалось, наполнен её властью и всеприсутствием. Болеславлев давно заметил, что в комнатах, где лежит больной, время у людей, живущих рядом с ним, даже течёт иначе. Конечно, они подстраивают свою жизнь под ход его болезни, особенно если немощный давно уже сам перестал вставать с постели. За окном на улице шум, суета, а переступаешь порог — и, как из проточной стремни-

ны, ныряешь в глухую заводь. Звуки, шорохи, голоса, даже кухонные случайные громыхания — всё иначе. Понятно, что запахи особые, но само время превратилось из подвижного потока в круги, которые, словно концентрически, расходятся по дому. Ещё он запомнил, как меняется манера говорить о находящемся при последних днях или часах жизни человеке.

Как сопротивляется язык отразить очевидное для мысли присутствующих. Когда родственникам уже ясно, что больному долго не протянуть, а все ожидания чудес закончились, о нём говорят как о живом: «Вот лежит, пьёт, стонет», — и одновременно, в соседней комнате, как о мёртвом: «Что оденем? Куда положим? Какой хороший он был». Человек как бы ещё и есть, и его уже и нет. Болеславлев называл это: «предбудущее или посленастоящее время жизни».

Встретила протоиерея Ниловна и провела покоями к специальной отдельной комнате, напоминавшей богатую гостиную, решительной рукой превращённую в своеобразную келию. Кое-что из прежней богатой мебели оставалось, но было расставлено странным образом, фрагментами, без особого плана. Половина одного шкафа закрывала окно, кровать стояла, отгороженная небольшим инкрустированным сервантом, тяжёлые гардины от потолка до пола закрывали второе окно, и маленький простой топчан, зажатый книжными полками, помещался в углу. Почти ростовые иконы занимали противоположный красный угол, и если посетитель оказывался здесь впервые, то странное чувство недоумения настигало его в этой комнате-лабиринте. Горели огоньки двух тёмно-синего стекла массивных лампад, пахло ладаном, мылом

и сушёными лекарственными травами. На топчане спал большой кот. В полусумраке и бликах он казался пыльным. На вошедшего священника кот внимания не обратил. «Киса», — равнодушно приветствовал его Болеславлев, осторожно обошёл сервант и предстал перед барыней.

— Добрый день, матушка, как себя нынче чувствуете?

Аплечеева приоткрыла один глаз, внимательно оглядела священника.

— Жива, слава Богу, — немного помолчала, словно вспоминая имя гостя, и более уверенно повторила, открыв второй глаз, — вот ведь, точно жива. Будь добр, поправь подушки. А где Ниловна запропастилась?

— Здесь я, матушка, здесь, — Ниловна вынырнула из полусумрака и бросилась к постели. Осторожно подоткнула все расползавшиеся части сооружения из валиков, одеял и разного размера подушек и ловко, незаметно, пятясь задом среди мебельных лабиринтов, удалилась из комнаты.

Барыня помолчала. С минуты две она внимательно рассматривала высокий серый потолок, ощупывала крупные перстни на правой руке, тяжёлое золотое кольцо на левой. Вздохнула глубоко и решительно обратилась к Болеславлеву:

— Ну, давай. Начинай.

— Что, матушка? Исповедь сначала или молебен будем служить?

— Исповедь. Молебен потом, если не усну. Уж больно разморило, пока тебя дождалась.

— Простите великодушно, — начал оправдываться священник, — вот в консисторию срочно призвали.

— Ладно, — Аплечеева отмахнулась, — не траться на разговоры. Знаю, у вас всегда в духовную контору срочно сзывают, словно почтовые новость про Армагеддон принесли. Клади епитрахиль. Каяться буду.

Далее дело шло привычным порядком. Болеславлев возложил на голову Натальи Нифантьевны старенькую епитрахиль, вежливо склонился и минут пятнадцать слушал пространный рассказ исповедальницы о всякой всячине, приключившейся в доме, в городе, в лавке, на заставе, в огороде, на кладбище, с приказчиками, дворовыми девками, попрошайками, и прочие истории. Самое удивительное, но барыня, и он это прекрасно знал, уже давно не покидала дома. Тем не менее её мир буквально бурлил событиями, пестрел лицами, наполнялся страстями и переживаниями. Перемыв все косточки правым и виноватым, пожаловавшись на всех близких и дальних, Аплечеева выдохнула: «Грешна!» — и откинулась спиной на свой подушечный бастион.

— Всё, ваше преподобие — чиста. Можно и помирать, — через некоторое время заключила барыня. — У смерти, знаешь, скажу тебе, есть свои привилегии.

— У неё самой? — удивлённо уточнил Болеславлев.

— Не то чтобы лично у самой, а в её приближении к человеку эти подарки обнаруживаются.

— В толк не возьму, — Василий Фёдорович, предчувствуя, что больная сейчас примется за пространные рассуждения, даже прекратил готовиться к молебну. Слушал.

— Вот смотри, — Аплечеева пустилась в рассуждения. — Если смерть мгновенно заявится, то дело худое. А вот если начнёт кружить, постукивать, по-

сылать человеку весточки — всё иначе. Можно с ней договориться. Попросить не спешить, чтобы все дела устроились. Она, глядишь, и послушает.

— Да, конечно, — поддакнул священник, — остаётся время для самого важного. Можно исправить себя, примириться.

Некоторое время барыня пыталась справляться со своим глубоким грудным дыханием, приподнимаясь на локтях, вытягивая шею вперёд, словно похватывая воздух ртом. После, отдышавшись, обратилась к Болеславлеву:

— Скажи, любезный, ты, поди, как Соломон, мудр и начитан, я вот думаю, когда уже всадники Апокалипсиса по улицам Твери проскачут в московскую сторону?

За много лет уже неплохо изучивший ход мыслей Аплечеевой, особенно в часы таких приступов, священник не смутился, а привычно перевёл разговор в другое направление.

— Куда мне, матушка, до святого царя? Он был избранником Божьим и своей властью по воле Вседержителя распоряжался, а мне недосуг в приходских делах всё наладить толком.

Аплечеева недоверчиво качала головой:

— Скажешь тоже, я ведь научена и знаю, когда Господь Соломона оставил, царь не замишурился, а сам всё быстро сообразил.

Отец Василий с любопытством посмотрел на барыню. Осторожно решил уточнить:

— Напомните, если не велик труд, когда такое событие в Писании произошло? Не могу определиться с эпохами.

Аплечеева оживилась ещё более:

— В Библии про него, может быть, особо и нет, но это не шибко и важно, народ, главное, помнит, что когда Христос сошёл во ад и вывел оттуда всех праведников со святыми на солнышко, когда все замки, засовы рухнули, то, — голос болящей перешёл на шёпот, — царь Соломон очень закручинился и даже перепугался.

Такой истории Болеславлев прежде не слышал и потому решил подвинуться поближе к рассказчице. Она продолжала:

— Соломон сидит в аду и спрашивает оттуда Христа: «Светлый Спаситель, отчего меня среди бесов бросаешь? Знаю, что виновен и готов всё вымаливать, но не здесь, а с праведниками на небесах». Господь ему тогда отвечает: «Ты царь зело мудр и сам скумекаешь, как из преисподни на свет Божий выбраться. Мы со святыми пока на облаках тебя подождём». И Соломон недолго поразмышлял, прикинул всё, как складнее будет, и решил построить в аду церковь с огромной колокольней. Народ там ещё в избытке обретался. Собрал всех грешников, и начали они усердно возводить храмину. А Сатана, увидев, как дело спорится у царя, перепугался. Он решил, что все нераскаянные христиане будут там собираться, псалмы петь, в колокола трезвонить, а после и вовсе через звонницу сбегут на землю. Разозлился нечистый и вышвырнул Соломона со всеми его постройками наверх. Царь тогда всё собрал и отправился в Иерусалим, чтобы там церковь соорудить. Неужели не слышал?

На одном почти дыхании произнеся весь этот монолог, барыня устало откинулась на подушки.

— Не приводилось, — ответил священник. И для поддержания беседы решил уточнить:

— А не припомните, когда сие замечательное событие произошло?

— Которое? — уже безо всякого интереса откликнулась барыня.

— Постройка храма в Иерусалиме? До или после Вознесения Господа?

Аплечеева проворчала:

— Ну уж ты, милый, спросишь. Откуда мне знать. Ты учёный протоиерей, вот и разбирайся. Пусть тебе твой Соломон и поможет.

— Пусть, — кивнул священник.

Барыня погрузилась в молчание. Решив несколько повременить, Болеславлев подошёл к домашнему иконостасу, развернулся и уже под другим углом осмотрел эту странную комнату-келию. Он отчётливо и ясно помнил, как пятнадцать лет назад здесь скончался супруг барыни Михаил Евгеньевич.

Для тогда ещё малоопытного отца Василия всё произошедшее показалось странным, если не сказать необычным. Аплечеев умер, потому что решил, как сказал сам, «перестать жить». Точнее, так: он «почувствовал нежелание существовать в бессмысленности», а болеть ему «сильно опротивело». Сердце его билось, сила в руках ещё была, но он сказал печальной супруге: «Дорогая, пожил я, и довольно будет. Не стану мучиться, тебя изводить, а помогу Богу меня прибрать».

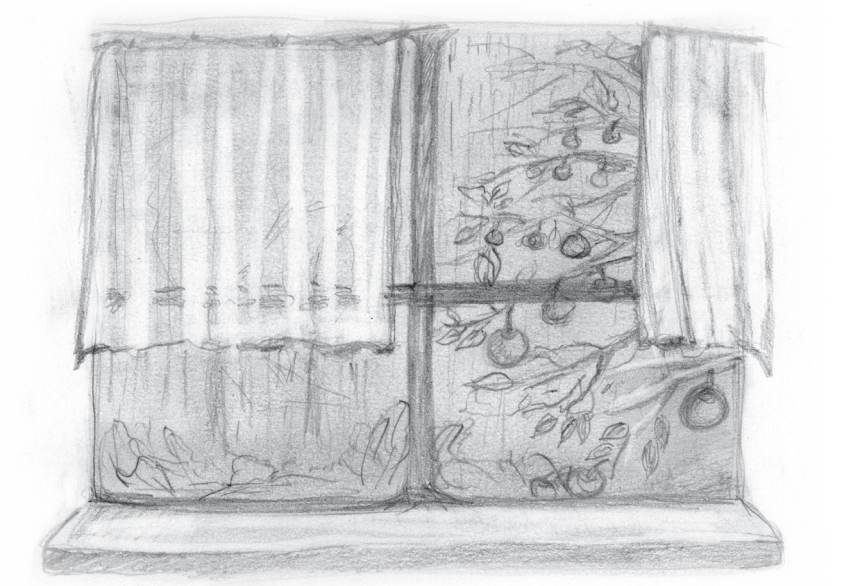
И так потихоньку он перестал есть, пил мало, всё больше молчал, спал. Ни мольбы, ни уговоры, ни истерические требования супруги — ничего не помогало. Михаил Евгеньевич лежал, смотрел в окно, на

иконы или, прикрыв глаза, что-то бормотал в полудрёме. Когда приносили еду, ещё не ослабевшей рукой останавливал доброхота и ласково говорил: «Довольно мне уже будет. Откушал всё. Пора в дорогу собираться».

Так и преставился с поднятой рукой и открытой ладонью, словно собирается вспорхнуть и улететь. Вздохнул и затих.

Ещё Болеславлев помнил сына Аплечеевых Дмитрия, хотя видел его мельком, несколько раз. Дмитрий Михайлович выбрал себе военную карьеру офицера артиллерии и погиб во время Крымской войны, не оставив после себя ни семьи, ни потомства. Ничего, кроме посмертной медали и упоминания в журнале «Русский инвалид».

Супруги, пока у обоих были силы, ходили молиться в Покровскую на Тьмаке. Иногда отправлялись в Оршинский монастырь или даже к мощам Ефрема и Аркадия в Торжок. Но то летом. Зима заваливала Тверь сугробами, и многие даже успевали подзабывать лица и голоса своих прежних знакомых. От Михайлова дня до Благовещения сидели по домам. Только на Святки и масленичные дни покидали жилища. Великим Постом по субботам и в воскресенья, кто мог, добирался до храмов. Жизнь в городе текла как бы исподволь, подземной рекой. По весне что-то там, в её глубине, оттаивало, прорывало, и город оживал. К верхушке лета, измаявшись пеклом, пылью, знойными закатами, громовыми дождливыми утренниками, Тверь впадала в легкое оцепенение. «Скорее бы осень, — говорили друг другу горожане, — даст Бог, будет урожай и погулять успеем до заморозков».



В октябре начинали ждать первого снега, ледостава, Филипповок и Рождества. Годы нанизывались один на другой. Аплечеевым некуда было торопиться, и, пока болезни не начали настойчиво стучаться в их жизнь, они словно перетекали с водами той подземной реки, от даты к дате, от заговенья к мясоеду, от редких встреч с давними приятелями к более частым панихидам по общим знакомым. Немощи и недуги всё переменили. Было необходимо вести хозяйство, смотреть за кухней, слугами, домом. Они просили помощника, и Бог послал им Ниловну.

Имени этой женщины вспомнить никто не мог. Была она, кажется, тайной монахиней или незаконнорожденной из дворянских дочерей, что лишаются наследства, или же, по мнению некоторых, наоборот, инокиней, сбежавшей из какой-то обители, — не ясно. Да никто толком не допытывался. Живёт себе, мыка-

ется долгие свои годы по господским домам в одиночестве и чужих заботах. Ей разрешали носить чётки и заляпанные воском длинные платья. Верили, что она имеет дар особой молитвы, несёт тайные обеты, по силе которых исполняются все её прошения по самым разнообразным поводам. Во всех больших монастырях и дальних малых скитах, вплоть до Валаама и Соловков, у неё находился «свой человечек» духовного звания. Иногда им был даже сам архимандрит или игуменья.

Ниловна знала грамоту и писала длинные письма одной ей известным старцам или, как говорила, «духоносным особам, в пустынях сущих».

Не пила чай, кофе, не ела картошки, любила чертить на листках дорогой белой бумаги только ей одной понятные геометрические рисунки и рассказывала барыне множество различных жутковатых и мистических историй.

Иногда это оказывались недурно сложенные канты, от исполнения которых, при надлежащем мрачном завывании исполнителей, мороз бежал по коже и тех, кто пел, и тех, кто слушал. Болеславлев однажды попал на некий домашний концерт, где пели притчу, балладу, даже не знаешь, как и назвать, про антихристово войско, коварно захватившее в плен сотню христиан-богомольцев и мучающее пленников среди пшеничного белого поля. Жуткие там стихи звучали. Священник даже подумал: «Вот она, самая настоящая литература России; без лукавства автора и цензуры. Воспитатель и учитель народа. Жить после такой поэзии хочется ещё пуще прежнего, и не оттого что жизнь прекрасна, а потому как помирать невыносимо страш-

но. Особенно с перспективой быть пойманным и демонами истязаемым».

Ниловна ошалевшим от таких песен слушателям любила ещё давать собственные наставления. Говорила:

— Для укрепления в вере и благости.

На восходящей ноте гудела:

— Ты боишься ада, маловерный?! Его не бояться, а любить нужно!

— С чего же, матушка, помилуйте, — охал любитель гимнов.

— А с того, — сурово отвечала та, — что если по правде станешь жить с Богом, то ад тебя не поглотит, попалит других. А ты его пройдёшь с любовью и окажешься в небесном чертоге. Под сенью пальм и фиников всяческих.

Барыня больше всего любила кант про каменный горох. Случись ей впасть в тоску или вызванное недугом раздражённое настроение, она призывала к себе в комнату Ниловну и девиц с кухни. Все чинно рассаживались вдоль стен, старуха пристраивалась на табурете подле постели, брала больную за руку и затягивала: «Близь святаго Иорда-а-а-на, как слеза, вода чист-а-а, где глаголы Иоа-а-нна показали нам Христа. Где предвечно зелене-е-е-т кипарисов стройный ряд, где два раза смок воззреет, не теряя свой наряд…»

И далее следовал продолжительный рассказ о том, как Божия Матерь шла молиться в Гефсиманский сад и встретила земледельца, засевавшего свежую полосу. На вопрос Пречистой: «Что за семена он бросает в землю?» — она услышала грубое бурчание: «Камень». И ответ Девы был строг: «Камень и пожнёшь». С тех пор,

как далее следовало из канта, на том поле ничего, кроме камешков величиной с горошину, паломники не находили. Полоса эта проклята, и все, кто в Иерусалиме бывал, привозят такие реликвии домой. У Ниловны каменный горох не переводился. Им она круглый год одаривала всех детишек в округе, не скупясь на суровые нравоучения и замечания.

Она обладала не только различными, но порой взаимоисключающими суждениями, высказывая мысли противоположного свойства. Многие, особенно из числа мастеровых или купеческих горожан, а она любила захаживать в лавки и мастерские, были убеждены ею, что милость, творимая в тайне, имеет огромную спасительную силу. «Нужно только, — поучала Ниловна, — соблюсти два непременных правила. Прежде всего, совершать всё глубокой ночью, чтобы никто не увидел, и второе: просить у Бога в обмен по существу ожидаемого благодеяния. Например, если за болящего из своих близких, то: «Приими, Господи, во исцелении раба имярек», а если помельче что, то: «Зачти, Небесный Отец, за такое вот дело». Череда разнообразных вариантов и советов не истощалась.

В другие дни на неё накатывала волна чёрной душевной тоски, и собравшийся во дворе дома народ слышал высокий голос: «Больше ничего не делайте, в долг не давайте, молоко только грудным, вещи вяжите в узлы и под клеть хороните. Скоро всем бежать придётся в горы. Сначала на Валдай, а после, кто выживет, к хребтам Кавказа. Других дорог не останется. Враг уже рвётся из-под земли».

В Твери на эти темы поговорить любителей хватало. Охотнее всех судачили натуры праздные и нерви-

ческого характера. Болеславлев старался от таких разговоров отмахиваться, но уж если приходилось отвечать, то бывал осторожней.

— Мои суждения, — начинал он издалека, — не линейны. Они имеют более математический, чем духовный угол зрения.

Собеседник от такого туманного вступления несколько терялся, а отец Василий продолжал:

— Завершение истории человечества после войн, катастроф и Армагеддона сомнению не подлежит, но ведь согласитесь, что Сам Христос предрекал сие только после завершения вселенской проповеди Его Слова. А теперь если всех сложить, учесть Китай, Африку, Индию и австралийские земли, то всё равно не более половины человечества Евангелие читали или даже слышали про искупление на Голгофе.

Собеседник, зачастую имевший приблизительное представление о разнообразии народов, расселившихся по миру, пытался сбить священнические рассуждения подбором цитат из одному лишь ему известных авторов, свободно переложенных библейских стихов и, если не выходило, сердился, нервничал и выпаливал что-то в духе:

— Кого надо, Сам Бог приведёт, а кого нет — тому с антихристом и погибать. За грехи.

В числе знакомых Болеславлева было немало тех, кто, подобно Ниловне, напряженно вглядывался в каждый наступающий день, в лица чужаков, в первую полосу свежей газеты, от всего ожидая если не беды, то угрозы или подвоха. Священник понимал, что ни на проповеди, ни в личном разговоре не может сказать так запросто: «Не бойтесь, ибо страх парализует ваш разум

и волю. Смирение — это когда вы открыты для любого устрашения. Ваши невидимые латы — сила Святого Духа, которая защищает вас. Дайте Богу вас уберечь, и Он всё Сам устроит». От него же ждали наставлений более житейских: куда бежать, что есть, пить, чего особо опасаться. Он осторожно говорил: «Мы не просто крещеные люди. Христиане носят не только крестик, но Самого Искупителя в самих себе. И кто хочет спасения, тот боится потерять Христа, падая и спотыкаясь, бредёт за Ним, льнёт к Господу, а не бежит прятаться по подвалам и лесам от антихриста».

И ещё, уже давно для самого себя отец Василий определил, что час Пришествия отодвинут на срок неопределённый. «По крайней мере, — считал он, — пока русское самодержавие и Британская Империя хранят равновесие, а китайцы с японцами не осадили Иерусалим, ничего ужасного не случится».

Уже приближаясь к дому, священник вспомнил, что обещал дочери принести чего-нибудь сладкого. Решил зайти в бакалейную лавку Егора Матвеевича Скорина, благо та была по дороге и пользовалась у тверитян недурной репутацией.

За широким чистым прилавком стоял сам хозяин. Высокий, большерукий, зычного голоса говорун, лет пятидесяти, любивший поторговаться за полкопейки, но пуще обожавший делиться всяческими слухами, байками, анекдотами, Скорин называл себя «земчуом задонским» и не уставал в своеобразном проповедническом служении.

Дело в том, что однажды Егор Матвеевич тяжело занедужил, долго лежал и читал книгу святителя Тихо-

на Задонского «Духовное сокровище». Память у купца была отменной, так что целые отрывки наставлений и размышлений святого старца он, как говорится, «до запятой» сохранил в голове. Когда о любом предмете он начинал пространно рассуждать, касался самой незначительной и даже вздорной темы, то любой оказавшийся под напором его речи собеседник решительно терял всякое желание не то что бы спорить, но даже просто уточнять рассыпаемые перед ним суждения. Малосочетаемые фрагменты священной и мировой историй, афоризмы римских авторов, предложенные в очень вольной редакции, цитаты из Писания и слова задонского святителя, в подлинности которых никто не мог быть уверен, многих восхищали, а любители спорить на эти темы в Твери практически отсутствовали.

Болеславлев тоже не спешил возражать купеческим монологам. Ему казалось, что некая странная магия происходит в ситуациях, когда читаешь или слушаешь текст, где все слова знакомы, порядок грамматический соблюдён, знаки препинания расставлены верно, но уловить какой-либо смысл невозможно. Зачарованно замираешь или, точнее, цепенеешь, покуда собеседник плетёт ожерелья слов.

— Добрый день, — отец Василий приветствовал хозяина бакалеи, — как ваше самочувствие и торговля нынче?

Купец живо заулыбался:

— О, дорогое преподобие, заходите, смиренно просим. Почтите нас, убогих, своим вниманием, — Скорин развел в стороны свои большие руки, словно пытался не то обнять, не то затащить в глубину лавки священника:

— Очень счастлив лицезреть вашу персону вне церковных сводов, клубов фимиама и злачёных риз. Посетите нашу юдоль, где прохлада кедра ливанского и благоухание текущих медовых сот. На улице жара, а мы тут в совершенной лепоте и дуновении ветра.

«Речь идет, видимо, про сквозняки», — предположил Болеславлев, но вслух спросил:

— С чего у вас, любезный Егор Матвеевич, соты потекли? Так ведь и разориться недолго.

— Бедности мы не боимся, — Скорин продолжал восторженно сиять, — помню, как учил праведный Царь Давид: «Богатство если течёт в руки, то в сердце отлагать его никак не следует». Пускай оно себе копится, растёт, тяжелеет; главное, в сердце его не откладывать. Сундуки, горшки, погреба — вот место его укрытия и сбережения. Но здесь, — при этих словах купец сжал кулак и с силой ударил себя в грудь, — всё должно быть чистым и светоносным, как Тихон учит.

Болеславлев молчал. Никакого желания уточнять цитаты из творений задонского святителя, спорить с купеческим библейничаньем, да и вообще поддерживать совершенно пустейший разговор у него не было, но и вовсе отмахнуться от хозяина возможности не представлялось. Скорин среди всех этих шоколадных, леденцовых, пряничных и прочих полок, на фоне висевшего у него за спиной портрета Кутузова выглядел несколько фантасмагорично, но очень уверенно, требовал не только внимания, но и ответа.

Ещё купец был из тех посадских, что исповедовали, как говорил священник, «олимпийское православие» — такую полную драматургичности и фольклора религию, где святые меряются силами с демонами, а

люди решают, кто из угодников Божьих более велик, где боятся антихриста больше, чем Того, Кто будет Судьёй в последний день, и предпочитают заказывать в свои приходские храмы большие иконы Ветхозаветной Троицы со старцем Саваофом, голубем-Духом и сияющим оком в треугольнике.

Очень осторожно, издалека, Василий Фёдорович произнёс:

— Знаете, любезный, я припоминаю, что Псалмопевец говорил: «…не прилагайте сердце к текущему богатству, не становитесь его рабом, не позволяйте увлечь себя в плен корысти и наживы». А про горшки с сундуками это вы сами досочинили. Красиво, конечно, занятно, но достаточно вольно.

Скорин словно и не слышал священника. Радостно кивая, он полез под прилавок и достал облепленные сахарными крошками картонки. Новую идею купец собрался подкрепить декорацией.

— Вот что думаю, отец Василий, сердце — это как палатка, скиния, может, даже и шалаш, какие дети мастерят. Оно — сокровищница духа и должно быть чистым, святым.

Для пущей убедительности купец из картонок сложил некое подобие домика. Продолжил:

— Мы скинию создадим, но ничего суетного, тленного вносить в неё не станем. Возведем специальные для этого случая вокруг алтари, жертвенники, обнесём всё резными и золочёными ширмами. Должно быть красиво, тайнообразно, чтоб у православных рождались трепет, уважение и любовь к небесному порядку, какой в делах земных царить обязан. А непонятливых будем специальными занятиями просвещать.

Как недавно в консистории, Болеславлев почувствовал лёгкую дурноту. Ему были понятны все скоринские образы, метафоры, сам ход мыслей и особенно этот воинственный настрой бакалейного богослова. Он был готов к новым цитатам, кульбитам рассуждений, неожиданным выводам, но было нужно садиться за Слово приветствия. Никаких идей у протоиерея пока даже не наклюнулось. Так что он купил шоколад, раскланялся и торопливо вышел на улицу в пыльную полуденную жару города.

Сели за стол. На обед была нежно-зелёного цвета стручковая фасоль. В глиняном горшочке, с морковью и всяческой зеленью, Болеславлев, любивший время от времени, что называется, «по вдохновению» готовить, запекал её накануне вечером. Иногда летом у них случалась и уха, но в тот день свежей рыбы не оказалось, так что трапеза прошла быстро и скромно. Ожидая, пока подоспеет самовар, священник достал из сумки купленный в лавке шоколад и епархиальные книги. Том Василия Великого отложил, а сам принялся листать новый церковный журнал. Статьи были все как на подбор или скучные, или приторно-назидательные, или обескураживающие в своей наивной пустоте. «Так ведь можно верстами писать, а толку мало», — пробормотал священник. На поэтической странице задержался. Несколько раз перечитал подборку давнишних стихотворений Тредиаковского, собранных ради юбилейной памяти пиита. Отметил понравившуюся строфу:

О, лето прегорячее,
Ты мухами обильно паче,
Но тем ты, лето, мне любовно,
Что прегрибовно.

Решил, что выпишет её в тетрадь к другим, аккуратно сохраняемым им стихам… Понравилось это «прегрибовно». Стал сочинять похожие слова: «преягодно», «преяблочно», «прерыбно». Последнее изобретение второй уже раз за день навело на мысль о рыбалке. Болеславлев перевернул ещё две страницы и добрался до любимого раздела про паломничества к святым местам. Счастливец, побывавший на Синае, подробно рассказывал своим иногда дальше волости не уезжавшим читателям о монастыре святой Екатерины. Там всё было удивительно, таинственно и необычно. Пески, раскалённые солнцем, багряные закаты, мерцание лампад, клубы ладанного дыма, согбенные спины монахов, холодные плиты каменного пола, финики на глиняных блюдах, верблюды, кивающие богомольцам, посохи, бороды, протяжные молитвы, гулкие песнопения и ледяная вода святого колодца — всё это зазвучало, зажурчало и начало мерцать в вообразительных картинах Болеславлева. Он не знал, какие именно запахи покрывают ночью пустыню, но ему казалось, что они должны быть очень понятны и знакомы, случись появиться где-то подле этой обители. Более того, за минуту он придумал маршрут, по которому можно было бы обогнуть монастырь и подняться на ближайшую соседнюю гору. Автор рассказа, правда, ничего о таких высотах не сообщал, но Василий Фёдорович был убеждён: «Что за монастырь без окружных гор? Куда-то иноки должны время от времени поглядывать с печалью и рвением? Не всё же на монастырские грядки и за козами присматривать?» Дважды он перечитал о порядке служб в обители. Они были долгими, ночными, с многочис-

ленными чтениями и поклонами. Рассказчик, не чуждый поэтических настроений, писал, что «в пустыне Бог ближе, потому как ничто не мешает Ему молиться. Вокруг лишь библейская тишина, аскеза земли и огромные звёзды неба».

«Да, возможно, — согласился Болеславлев, — так оно и есть. Здесь вот дождик, мухи, грибы, и собаки лают ночами на мелкие звёзды. Лоб перекрестишь, молитовку прочтёшь, и то славно». Закрыл журнал и пододвинул к себе шоколад.

На маслянистой плитке священник ногтем нарисовал два глаза, перекладину носа и чёрточку, которая, по его предположению, должна была обозначать рот. Уголки шоколадных губ капризно и несколько раздражённо опустились вниз. Пока Дуняша звенела на кухне чашками, ссыпала ложки и расставляла блюдца, он усложнил картинку предположительными ушами вытянутого вида. Над глазами появились брови, под линией рта — картофельный подбородок. Так! Священник замер. На него сердито смотрел ректор Почайловский. Причём даже ещё лишённое бороды лицо епархиала было, как любил повторять Болеславлев, «лишено и печати добродетели, и печати целомудрия».

— Кась эдакая! — Болеславлев минуту поразглядывал ректора, после чего осторожно обозначил попавшейся под руку спичкой контуры лба и положил на них то ли прядь волос, то ли хохляцкий вихор, словно выбивающийся из-под скуфьи. Последней, впрочем, ещё не было, так что пришлось дорисовать и её. Потом он водрузил голову на вылезшую из покатых плеч шею, обозначил жиденькую бородёнку, подвёл под неё во-

ротничок подрясника. Хотел было пустить вокруг шеи цепочку наперсного креста, но передумал. — Нет уж, воздержусь. Ведь ещё это дело съесть придётся. Креста хотя и нет, но намёк вполне ясный.

Священник смотрел на свою работу и явно чувствовал, что не хватает Почайловскому какой-то важной детали. Унылое, как вареник, лицо персонажа раздражённо требовало дополнительно внимания автора.

— Ну хорошо, отец ректор, — хмыкнул Болеславлев, — знаю, о чём мечтаешь. Вот тебе орден. — С этими словами он выцарапал на груди ректора условно-шоколадную награду и, вертикально поставив, прислонил портрет к сахарнице.

Дуняша принесла поднос с чашками и, положив отцу на колени полотенце, принялась разливать чай. Пока она наполняла чашку и что-то щебетала про огородные грядки, цветы и жаркую неделю, всё было чинно, прилично. Но, передвинувшись к своему прибору и протянув было руку к сахарнице, девушка увидела шоколадный рисунок Болеславлева, прыснула громким смешком и чуть было не опрокинула заварочный чайник.

— Папенька! Вы почто сладость-то испортили? Только куплено же. Смотреть-то страсть, а кушать как? Не приведи Бог, подавишься таким лакомством, — запричитала девушка.

— А что? — удивился Болеславлев. — Признала ли кого?

— Конечно. Ещё как признала. У вас рисунок очень явственный. Вот не могли же кого повкусней изобразить. Считай, что шоколад только перевели. Испортили. Словно перец добавили.

— Скажешь тоже — перец. Мы же не немцы соль и приправы куда ни попадя сыпать. А кого мне ещё нарисовать?

— Не кого, а чего. К примеру, своего любимца, которого с полгода ходите и поминаете.

Болеславлев с любопытством посмотрел на дочку. Подумал: «Вот молодец растёт. Внимательная. В мать-покойницу. Всё слышит и замечает».

— Ты, Дуся, про Конька, верно, говоришь? Так его и рисовать сложно, а есть я даже и не стану.

Ершовского Горбунка Болеславлев прочитал лет пять тому назад. Купил случайно книжку за копейки дочке на базаре. Полистал. Картинки понравились. А потом как-то взял с собой на рыбалку. Там так зачитался, что и про удочки забыл. Смеялся много, особенно когда в первый раз добрался до образа католика, и печально улыбался, читая про крест над теремом Месяц-Месяцовича.

— Ты говоришь, что встретила недавно очень унылого человека? Словно погибающего. Но, может быть, просто шёл себе прохожий в печальном расположении духа и думал о всяких грустных вещах.

— Всякое бывает, — кивнула дочь, — но этот точно имел вид куда как тоскливый, словно заболевал и сделать с этой хандрой ничего не решался.

— Случается, — согласился Болеславлев. — Вот недавно в храм пришёл мастеровой из заезжих. Сам живёт в Рыбинске, а здесь какую-то работу промышлял. Чисто одетый, обстоятельный, намеренно к исповеди приготовился. Причащаться не стал. «Нет, — говорит, — благословения на чужом приходе к Чаше подходить». Постоял за обедней, исповедовался и

ещё так поговорить остался. Оказался вдовым. Зовут Потапом. Дети живут отдельно. Он работает целыми днями, а вечером бродит по улицам города и подбирает всяческих совсем уже захиревших и больных домашних обитальцев. Кормит, а в непогоду пускает погреться в сараюшку свою или даже домой. Минувшей зимой приглянулся ему котёнок. Принес к себе. Отогрел, почистил. А тот отъелся, быстро освоился и ходит себе мурлычет, никуда уходить не собирается. Неделя прошла. У мужика же к тому дню уже один кот обретался. Причем довольно давно. Ловил мышей, честно их приносил и складывал на пороге. На нового соседа смотрел он поначалу снисходительно и даже благосклонно. Покровительствовал как младшему, но потом начал ревновать, шипеть, бросаться на него. А после и вовсе обиделся на хозяина и пропал. Сгинул совершенно. Мужик пять дней его искал,

ходил за ворота, звал, ставил у порога миску с едой, но впустую. Кот исчез, а человек теперь места себе найти не может.

— С чего такое? — удивилась внимательно всё слушавшая Дуняша, — неужели сильно мучается до сих пор?

— Да, переживает. И вот, знаешь, — Болеславлев словно прислушался к голосам мыслей, сменявших одна другую, — не скажу тебе, о ком больше этот человек волнуется. О себе или за это бессловесное существо переживает.

— Подождите, папенька, — девушка от такого поворота отцовских рассуждений даже остановилась, — не могу в толк принять. Ему-то что, собственно говоря, переживать? Был один кот, теперь — другой. Нет злого умысла и вины никакой.

— Со стороны так и видится, но человек винит себя за пропажу старого приятеля. Так мне и сказал: «На мне грех. Довёл животное до уныния. Считай, погубил».

— Надо ведь, — вздохнула дочь, — какая переживательная душа. Тонкая. Чувственное сердце.

— Может, и так — отозвался священник, — но если бы о людях так ещё заботились. Коты здоровых мужиков до плаксивости доводят, а близкие слова доброго не скажут.

— Не любите вы животных, — сделала вывод Дуняша, — а зря. Вот помнишь, — когда она волновалась, то переходила с «ты» на сурово её голосом звучавшее «вы», — прошлым летом про душу разговаривали. Какая она у бессловесных и что с ней после смерти происходит?

Конечно, он всё помнил. Тогда она ещё неожиданно спросила: «А у животных, хотя бы домашних, неужели нет, как у нас с тобою, бессмертной души?» Болеславлев несколько растерялся, но не стал расспрашивать о причине вопроса. Как случалось в такие моменты сомнений, принялся рассуждать вслух, изредка лишь, ненароком поглядывая на собеседника.

— Про души наших, как сказано в Писании, «меньших братьев» говорить сложно по нескольким причинам. К примеру, вот смотрю я на Хвоща, дворового пса, или на твою кошку Мару и задаю вопрос, на который ответ не приходит: кто они такие? Мы дали им имена, на которые они откликаются и бегут как существа разумные и временами голодные. Но кто они такие? Откуда пришли? Почему согласились жить в одном мире с нами, в чём их задача, есть ли она вообще и, самое главное, куда они после своей жизни, как Хвощ и Мара, отправятся? Ничего определённого не скажешь. Во-вторых, к чему тому же псу память? Он ведь запоминает не только запахи, вкус и голоса, но помнит ласки и обиды. Помнит любовь и гнев. Кошка твоя одних царапает, к другим сама прыгает на колени. Они что-то хранят в своём сердце, а значит, это сохраненное им необходимо для будущей истории. В-третьих, — здесь священник помолчал, подбирая слова, — странные у них глаза. У курицы, гусей они стеклянные, бусинками блестящими, а у собаки или особенно лошади полны всяких чувств и смысла. Радость, тоска и даже укор в них различимы. Бездушные имели бы фарфоровые немые зрачки, а эти с жизнью и смыслом. И, в-четвёртых, самое важное. Мы за них переживаем, скучаем, если расстаёмся, и, тем более когда они помирают,

помним иногда очень долго. Разве просто так раскрываются наши чувства? Души непременно должны связь иметь, а значит, и в их и нашей природе много общего. Возможно, бессмертного. Представь, что они тоже что-то просят себе у Бога или молятся даже за нас.

Дальше было ещё пятое, шестое и другие размышления, которые казались священнику слишком туманными, и, чтобы как-то свести в единое целое всё прежде высказанное и пока ещё неясное, он придумал следующее.

— Помнишь, — спросил, — ты была ещё совсем маленькой и мы с мамой купили тебе на ярмарке кубики с картинками?

Дочка, знающая, как может развиваться подобным образом начинающиеся рассуждения, с любопытством кивнула.

— Так вот, — Болеславлев осторожно продолжал выстраивать свою композицию, — определенная картинка из этих кубиков будет складываться, если подгонять один к другому, геометрические фигуры и цвета сложатся в единое изображение. Ты, помнится, собирала маяк, возвышающийся на берегу моря?

— Да, — согласилась девушка, — белый с синими полосами на высокой скале стоял в бухте. Рядом были ещё дом смотрителя, садик в цветах и лодки у причала.

— Хорошо, хорошо, садик пусть будет. Неважно, что там именно находилось. Главное, картинку аккуратно собрали. Стены, ограда, ступени лестницы, облака плывут по небу, чайки снуют — замечательно, но тот кубик, на котором должен был быть огонёк ма-

яка, оказался подпорчен, и, когда всё сложили, оказалось, что свет от маяка никуда не идёт. Смысл всей затеи пропал.

Дуняша моментально догадалась, куда клонит отец, и обиженно выпалила:

— Мой кот — не маяк из детской забавы! Он умный, живой, и никто, кстати, не доказал, что он без воображения.

— Да, возможно, — Болеславлев предпочитал как можно меньше спорить с дочерью на такие трепетные для неё темы. — Я только придумал сравнение, чтобы показать: животное реально существует, и в нём всё создано разумно, правильно, как в маяке, что построили люди, но недостаёт одного лишь фрагмента. Как в маяке не горит огонь, так у кота не теплится бессмертная душа. Или же она есть, но из-за повреждения картинки плохо различима.

— Ясно всё, — Дуняша встала и, уже покидая комнату, заключила: — Ты сам толком не знаешь, а сочинить убедительный довод пока не можешь. Пойду кормить обитателей тверских маяков.

Овдовел Болеславлев рано. Дочке исполнилось всего пять лет, и он, решительно отказавшись от помощи как близкой своей, так и дальней жениной родни, оставил Дуню у себя. Воспитывал сам. Тётки, бабки, троюродные сёстры, жившие в уездных городах или по деревням, очень изредка их навещали, а отправлять девочку на их попечение Василий Фёдорович отказывался наотрез, поскольку помнил, что ещё при жизни супруга была против даже кратких расставаний с ребёнком. Елизавету Михайловну, покойную матушку, он всегда вспоминал с теплотой

и нежностью. У них был короткий, но счастливый брак. Они не успели ещё прирасти друг к другу, как обречённые на общий быт супруги, не начали уважительно дружить, подобно людям, по согласию совершающим общее важное дело, не достигли почтительных и вежливых отношений. Их чувства к моменту внезапной кончины Елизаветы Михайловны были в отблеске юношеской влюблённости, восхищения и романтики. Они почти никогда не разлучались. Когда он остался один в опустевшем после похорон доме и стал перебирать семейные вещи, то с удивлением обнаружил, что супруга хранила все его записочки, черновики каких-то статей, наброски проповедей. Но не было ни одного письма. Да и откуда им было взяться, если супруги не переписывались. Разлуки бывали короткими, а если и случались, то они словно замирали в своём внутреннем времени, ожидая скорой встречи, разговоров и подробных рассказов. Уезжая куда-нибудь, он говорил:

— Лиза, я ненадолго. Мы потерпим?

— Конечно, дорогой, — отвечала она, и все события, что происходили в те дни, как реки, огибающие своими стремнинами острова, миновали их души. После встречались, много смеялись, читали вместе, гуляли с дочкой или так, вдвоём. Катались по Волге на лодочке, путешествовали в столицу или Москву. В гости почти не ходили. У себя принимали, но редко. Да только было это всё так давно, что когда Болеславлев начинал вспоминать, то казалось, словно не собственная жизнь на память приходит, а со стороны смотришь на картинки из чужих историй, где тебе пришлось ненароком поучаствовать.

Ему, уже вдовцу, предложили однажды принять монашество. Сулили будущий епископский сан, карьеру и благополучие. Он отказался, сказав:

— Я, во-первых, ребёнка никому не доверю, поскольку матушке своей обещал, во-вторых, в иночестве ничего не понимаю, и, в-третьих, в городе мне жить привычней, спокойней на приходе, а монах должен в обители своей неотлучно сидеть.

— Ну, — ответили ему, — сейчас монашество иное пошло, новое. Можно сказать, экспериментальное, за которым будущее русской Церкви.

Священник на это хмыкнул и отмолчался.

Он знал, о чём идёт речь, и давно уже называл эти нововведения не иначе как «монашеские штучки». За каждым таким экспериментом отдалённо маячила если не злая, то чья-то, несомненно, капризная воля, если не гибельный, то точно глупейший умысел. С годами новшеств становилось всё больше, и народ, обычно уважительно относившийся к инокам, начинал открыто посмеиваться и над бродячими с котомками чернецами, и над богатыми архиерейскими выездами. Шутили:

— Это москвич москвичу глаз не выклюет, а монах монаха с клобуком съест.

Болеславлеву казалось, что все эти неурядицы вокруг русского монашества можно потихонечку упорядочить. К примеру, запретить отдавать детишек в монастыри «по обету». Мало ли кто в который день решит, от печали, с тоски или отчаяния, как говорили, «Богу дитё посвятить»? Сам человек если святой жизни — один разговор, а так, гуляют гулы, мол, благочестивая жертва Христу приятна, и ребёнка чуть

ли не в утробе матери определяют в иночество. «Сам вырастет и решит, — считал Болеславлев, — где и как спасаться». Ещё он считал, было бы к месту отказывать в монашеском постриге молодым парням без материнского и отцовского согласия. Возьмёт юноша от несчастной любви и заблажит: «Хочу ангельского жития, а девицы все от лукавых помыслов». Не посчастливилось ему с одной, путь не спешит. Жизнь не сразу налаживается. И ни к чему свою нервическую горячку делать камнем преткновения для других. Церковь, конечно, всех болезных утешит и дураков перемелет, но лишние испытания никому не нужны. «Также, — думал Болеславлев, — нужно научиться отказывать богатым, сословным прихожанам делать щедрые вклады в монастыри. Если тайные пожертвования — то дело одно, а когда открыто — то неприятности возникают. Принёс дар, а потом смотришь: дароносец себе келию устроил, мебель, книги привёз, обеды особые заказывает и даже кадку для личного омовения приобрёл».

«Ну и уж совсем никуда не годится, — в этом Василий Фёдорович был совершенно убеждён, — если монах, приписанный к одному монастырю, сбегает в другой, уходит в третий, а после и вовсе начинает странствовать по обителям. На ярмарке увидишь таких чернецов с заплечными мешками, в скуфейках. Кто из них настоящий, кто поддельный? Не разберёшь. Есть смиренные, благостные, но сколько малохольных и вороватых. А те, что были монахами, но стали епископами, — и вовсе, если монашество своё забыли, сложный народ получается».

Приступы одиночества иногда его буквально душили. Останься он только дома, наедине с самим со-

бою, на несколько дней кряду, как медленно, но неотступно, где-то глубоко, в пространстве сердца, отдавая спазмом в горло, разворачивается и растёт обессиливающая пустота. Она словно имела точку отсчёта и начинала из неё своё движение от сердца к самому мозгу, захватывая и подчиняя себе сознание. Болеславлев в такие минуты просто рассеянно смотрел по сторонам, и все предметы окружающего мира, цвета, запахи казались ему не только знакомыми, но и понятными. Он видел смысл, предназначение каждой вещи, но пустота набирала силу. В какой-то момент он чувствовал себя водомеркой, скользящей над бездной по тонкой плёнке воды, дальше и дальше. Его внимание привлекал факт несовпадения ощущения времени внешнего мира и его движения внутри самого себя. Первое, казалось, невыносимо тянется, а второе еле сочилось. Ему становилось неловко, и он пытался это внешнее подстегнуть. Спешил завершить неимоверно растянувшийся день, лечь пораньше спать в надежде, что поутру чувства обновятся и пустота эта ненавистная исчезнет, сгинет сама собой. Зимой такое получалось. Летом — маялся.

Не было такого дня, чтобы он не вспоминал родителей. И дело не только в том, что на вечерних молитвах или храмовых литиях их имена всплывали из памяти, а в том, что невидимое, но явственное присутствие усопших священник ощущал отчетливо и неизменно. Иногда он беседовал с ними, пояснял, словно они дожидались ответов, или даже, вспоминая забавные истории, подшучивал над собой, общими знакомыми, родственниками. Родители были совсем близко.

Покойная супруга, казалось, тоже где-то вблизи, но отдельно от них. Самая яркая картинка отпечатала июльский день, когда они с матушкой гуляли по земляничному берегу Тьмаки, незадолго до её внезапной кончины. Ягоды уже поспели. Тёплые и удивительно сладкие. Она ссыпала их с ладони в большую глиняную чашку и произнесла странную фразу:

— Знаешь, я словно чувствую двухмерность своей жизни.

— О чём ты? — удивился Болеславлев.

— Понимаешь, — продолжала женщина, — вот речка, цветы на берегу, ягоды, запахи, вкус, ветер обдувает. Всё здесь, вокруг меня, рядом. Но вот там, — она положила ладонь на горло, — внутри точно болезнь, которая и давит, и словно утягивает за собой. Ничего не болит, не гложет, не мучает, но вот само её присутствие, упорное призывание истончает все силы. Словно с разных сторон два голоса поют песни и зовут. Каждый к себе.

И с ней, и с родителями священник советовался. Когда мимолётом, словно окликая, а бывало, и пространно излагая суть дела. Они всегда откликались.

Запомнился случай со студентом из Москвы, гостившим у своей двоюродной тётки под Тверью. Бедолага запутался в жизни, переживал и пришел во Владимирскую к Болеславлеву с вопросом:

— Как, — спрашивает, — мне найти чистую и живую веру? Прежнюю, без искушений и помрачений всяческих?

Отец Василий посмотрел в его умные, беспокойные глаза, вспомнил своего родителя, бережно хранившего все синодики и метрические книги, и спросил:

— А у вас, прошу прощения, имеется ли помянник об усопших родственниках?

Студент смутился:

— Особой книжечки, знаете, как-то нет, но я и по памяти могу читать. А в чём необходимость такая?

— Попробуйте, — сказал священник, — по минуте-другой в день, но только незабывно и своими словами о них просить Бога и с ними лично о всякой даже всячине разговаривать.

Студент смущенно кивнул, не уточняя ничего более, вышел из храма, а два месяца от него передали записку, где было сказано: «Спасибо, ваше преподобие! Совет немного помог. Мне сейчас гораздо лучше, и, хотя душа все же не на месте, я не тоскую прежним отчаянием. Помяните меня, пожалуйста, Глеб».

Что произошло, Болеславлев так и не узнал, но ещё раз порадовался верности своих чувств и представлений.

Прямо на диванчике, с листочком бумаги в руке, он и задремал. В общей сложности это забытье длилось с четверть часа, но череда картинок, образов и почти что видений, как после показалось, была столь плотной, что могла бы длиться и целую ночь.

Сперва Болеславлев видел себя словно со стороны. Маленьким мальчиком, ловившим рыбу на берегу лесного, поросшего деревьями озера. Большие серебристые лещи выпрыгивали из тёмно-сиреневой воды, и мальчик, словно хлопая в ладоши, старался поймать их в воздухе. Удачно выхваченных рыбин он укладывал в плетёную корзину. Солнце то ли поднималось, то ли уже сходило за высокие ели. Или это были сосны? Потом картинка менялась, и тот же зна-

комый ребёнок покачивался в телеге, медленно проезжая поле влажных трав. Солнце исчезло, и на него, расположившегося на сухом сене рядом с серебристым уловом, смотрели звёзды и луна полного белого налива. Колёса поскрипывали (во сне было слышно). Болеславлев почувствовал себя этим мальчиком. Он был спокоен, счастлив и не удивился, когда лунная белизна начала меняться к золотистому и после в густой янтарный. Сон наполнился медовой водой. Точнее, так: священник стоял подле бьющего из скалы родника, опускал пальцы в воду, которая неожиданно превращалась в прозрачный, жёлтый, с оранжевыми прожилками мёд. Рукам становилось всё теплее, и можно было видеть, как в ладонях играет маленькое солнце. Но источник исчез, и Болеславлев оказался на невысоком берегу, там, где Орша впадает в Волгу. У излучины, ближе к монастырю, горели костры, и какие-то люди в длиннополых серых одеждах бросали в рвущееся пламя охапки белой сирени, верёвочные лестницы и, казалось, доски, издалека похожие на потемневшие иконы. Ликов было не разобрать, и сквозь сонные полутона он ещё успел удивиться, спрашивая сам себя: «Откуда столько принесли лестниц? И неужели точно образа жгут огнём?» От спазма страха захотелось немедленно проснуться. Усилием воли священник вытолкнул своё сознание из сонной жути. Очнулся в испарине. Немного полежал с открытыми глазами, внимательно осмотрел комнату, точно припоминая, где он. Поднялся, облокотившись руками на край стола, выпрямился и громко, самому себе, словно желая ещё раз проверить возвращение к реальности, сказал: «Так. Поеду я на рыбалку. Развеюсь. Времени

ещё много. Как раз к вечерней зорьке успею». Разложенные бумаги аккуратно собрал в стопку на столике, положил сверху том святого Василия, взял шляпу, вышел, запряг лошадь и отправился в путь.

Ловитву — так Болеславлев предпочитал называть рыбалку — он полюбил ещё в детстве. Трёх-пятилетним мать водила его вместе со старшим братом Никитой в Жёлтиково, «к святому Арсению», и там они, пока монахи тянули вечерню с акафистом, потихоньку убегали на Тьмаку к рыбакам, которых уважительно называли рыбарями.

В реке водились зелёные щуки, толстые язи, лещи, плотва; в подводных норах прятались раки. Изредка Тьмаку переплывали лоси; кабаньи выводки выбегали на берег пить воду; крякали в камышах утки, ныряли выдры, и собачий лай перекатывался по матовой глади от деревни к деревне.

Мать обычно подойдёт к помазанию, хвать — а детей и нет. Она бежать на берег, и там, в высокой траве, за чересполосицами осоки, ближе к заводям, выкрикивает сыновей: «Кита! Вася! Куда пропали?!» Мужики на неё деланно сердито шикали: «Тише, Мария, вон твои рыбины под ивами сидят. Не шуми. Всю уху нам распугаешь!» Она забирала ребят и, отругав для порядка, вела в церковь. Там, чтобы не тревожить лишний раз братию, сама указательным пальцем из праздничной лампадки помазывала крестиком детские лбы.

Густой душистый елей, молочно-желтоватый воск, запахи ладана, свечей, речной воды, дыма костров, просфорного белого хлеба, земли, травы — всё перемешивалось, кружило мальчику голову тогда и настолько глубоко осело в душе, что теперь стоило

только вспомнить тот жёлтиковский летний вечерний берег, как счастливая улыбка замирала на священническом лице. Рыбалку Болеславлев действительно вспоминал не как давнее приключение, игру, что легко переживается, размещаясь среди прочих детских картинок. Она для него оживала яркой историей, почти эпическим событием из тех, что, не спрашивая, остаются с нами навсегда.

Покойный отец учил сыновей, что день, проведённый на рыбалке, Бог в книгу жизни не записывает, поскольку «она, — говаривал, — дело апостольское, располагающее особым благословением; в ней всё самое важное: труд, время молитвы и созерцания».

Федя осторожно спрашивал:

— А что такое созерцание? — про труд и молитву всё было понятно.

Отец серьёзно объяснял:

— Созерцание — это когда, во-первых, видишь, какой красивый берег, нарядные кувшинки, солнышко поднимается или заходит, туман с крутины наплывает и ныряет в волну, пар ползёт вверх по осоке, слышишь: птицы кричат или поют, не важно. Главное: перед тобой красота, и всё везде правильно. Во-вторых, наблюдаешь, как рыба ходит, плещется; та, что крупнее, гоняет мелочь. Думаешь про спрятавшуюся под коряги, спящую на самом дне. Подманиваешь её не только прикормом, но и всякими разговорами: «Плыви, мол, сюда, ко мне в улов». Ну и в третьих, — здесь отец задумчиво вздыхал, — перебираешь, благо время есть, всякие свои мелочи про жизнь, планы сочиняешь и всё раскладываешь, как говорят, по полочкам. Ясно?

— Ну да, — отзывался мальчик, — ясно. А какие и где полочки, папа? — уточнял.

— Да всякие разные, — отмахивался, — смотри лучше за снастью.

Теперь он не просто вспоминал отца, но стал ловить в себе самом черты его образа. Внезапно открывавшиеся: в повороте головы, жесте, даже взгляде с лёгким ироничным прищуром, — они словно всплывали, оживали, и Болеславлев с удивлением замечал их разнообразие. Положит ладонь в задумчивости на лоб и вспоминает, как это делал отец и как он сам за этим наблюдал со стороны. Иногда казалось, что даже не звук, а интонации голоса принадлежат не только ему, а как эхо отцовской речи. Такие «зеркальные» моменты поначалу его даже пугали. Но он привык, и когда ловил себя на подобного рода повторе, то только улыбался и бормотал панихидное: «память их в род и

род». Болеславлев знал, конечно, что эти слова про память Бога, Который вспомнит и воскресит всех, кого уже забыли родные и родные родных и перезабыли самые дальние из дальних, но в них ему слышался звук тайны, перед которой благоговеть его научил именно отец: тайны вечности человека, которую не раскрыл ему Господь из любви и Своей милости.

С возрастом, привыкший для верности мысли свои записывать, Болеславлев придумал и на рыбалку брать с собой набор: три грифельных карандаша, специально выпиленная и зашкуренная дощечка с гвоздиками для крепления бумажной половинки, белые листочки — всё это священник складывал в дорожный мешок и, когда приходил к реке, прежде раскладывал письменные принадлежности и лишь потом занимался рыболовными делами. Удобней всего писать было на утренней зорьке, если, конечно, не случался частый клёв. Вечером вокруг него собирались тучи комаров, одолевали мошки и тёплый влажный ветерок старался растрепать прикреплённые листы. Ещё при восходе всегда было особенно тихо, свежо и думалось как-то явственней. Однажды у Жёлтикова Болеславлев набрёл на почти идеально ровный, плоский камень. В трёх шагах от воды этот словно надвое распиленный валун напоминал декоративную скамейку. «Апостольский приступок» — так называл его священник и покрывал обычно куском старой войлочной дерюги. Сидеть было удобно. И речку видно, и трава в лицо не лезет. Ну и сам, в старом подрясничке, никому особо не заметен. Пишешь, рыбу ловишь. Созерцатель.

Впрочем, полного одиночества он не искал. Если кто-то оказывался рядом или на противоположном бе-

регу расставлял снасти — было неплохо. Особый интерес представляли мужики, ловившие рыбу сетями с лодок или разматывавшие сложные для его понимания приспособления с множеством крючков. Они всегда приплывали откуда-то с низовьев Тьмаки и поднимались вверх по реке. Взлохмаченные, сильные, озабоченные промыслом, бросающие друг другу скупые, только им понятные фразы, рыбаки были священнику любопытны. Поскольку никого из них лично Болеславлев не знал. Его городские ловили рыбу на Волге или в Тверце, а эти, с деревенских приходов, забирались в такую глушь не ради особой добычи, а, скорее, по давней привычке хорониться от посторонних глаз, ну и, конечно, тут находились излюбленные рыбные места. Сегодня их лодка быстро миновала монастырскую излучину. Священника, сидящего на камне в высокой траве за походным письменным столом, мужики не заметили.

Первая фраза сложилась именно под стенами Жёлтикова: «Господь, Творец покоя, мира и благоденствия, избрал Вас, Ваше Императорское Высочество, как река определяет стремнину своему течению, дабы воды не замутнялись, берега не порастали тиной и не болотились её заводи. Чистые ключи будут бить на склонах прибрежных гор и утренние лучи золотить быстрые волны». Понравилось. Записал и решил: «Надо бы про рыбок добавить, сравнить их с людьми, не в том, конечно, смысле, что щуки пескарей едят, а в том, что, выброшенные из воды на сушу, они мрут, тщетно пытаясь вернуться обратно к своей божественно уготованной стихии».

Здесь нужно отвлечься для двух пространных замечаний.

Болеславлев считал, что в России с народной любовью к Царю, как и вообще с проявлением искренних, честных чувств, дела обстоят не просто. Почти все говорят, что Самодержца любят, почитают, молятся за него как за Помазанника Божия, смотрят на него, как на первую и последнюю надежду, и беззлобно повторяют присказку «До Бога высоко, а до Царя далеко», подразумевая, что в обоих случаях особо рассчитывать не приходится ни на кого, кроме себя самих. Купцы и малочиновные любили Царя во времена победных дней, пышных торжеств, в годы взлёта национальной гордости. Крестьяне — в лета урожайные, сытые. Дворянская любовь расцветала в десятилетия денежного благоденствия, беззаботных путешествий за границу и модных увеселений. Священство, и городское, и сельское, любило Императора всегда, и по долгу службы, и вполне сердечно, искренне. Царь был личностью священной, мистической, но и с ним происходили вполне обычные события: внезапная кончина, убийство, таинственное исчезновение — всё могло случиться. Странные истории сопутствовали императорской судьбе. Болеславлев со слов отца знал, что, к примеру, когда в Петербурге умер Павел I, то московский народ радостно гулял и после Масленицы до первой Великопостной Среды. От него же ему было известно о намерениях Петра III учредить выплаты священникам из штатного жалования. Но Царь скончался или что там случилось, Бог весть, а Екатерина все поповские оклады велела урезать и платила только архиереям да монахам. Порядок, говорят, хотел навести Александр Павлович, но началась война с Наполеоном. Он, правда, успел возобновить прерванный

Петром Алексеевичем обычай целования Царём руки благословляющего его священника, а также отменил обязательное прежде целование епископом монаршей десницы. Николай Павлович, про это уже узнал сам Болеславлев в консистории, вновь обязал священников и архиереев лобызать царскую руку, но, что неплохо, при нём возобновились денежные выплаты духовенству, в основном пока городскому, но всё же. Ещё, кроме всех этих историй с поцелуями и жалованиями, были примечательные. К примеру: слух про Фёдора Кузьмича, тайного Императора Александра I, и коленопреклоненные молитвы Николая Павловича в Риме перед гробницей апостола Петра. Сам Василий Фёдорович Царя не то чтобы любил, скорее — уважал. «Да и как, — рассуждал священник, — можно в здравом уме любить человека, которого никогда не видел? Такой умный, гордый, загадочный в силу своей неограниченной власти, он предмет удивления, любопытства, в крайнем случае симпатии, но любви? Это вряд ли». И ещё не давали покоя разные тёмные истории недавних десятилетий. К примеру, о Лекторском.

Про суздальского затворника Болеславлев впервые узнал от Белюстина, когда отец Иван приезжал в консисторию с какой-то очередной своей калязинской тяжбой. Вечером, после дел, сидели дома: пили чай, Дуняша вышивала на крыльце, солнце опускалось в сосновые леса жёлтиковской излучины, пахло покошенной травой и торфяным дымом. На столе в гостиной лежали новые книги и журналы. Белюстин аккуратно разгрёб корреспонденцию, взял и с интересом полистал медно-зелёный том госпожи де Сталь. Задер-

жался взглядом на гравюре. Задумчиво так протянул полусуждение-полувопрос:

— Да, вот ведь забавно. Мадам — француженка, а пишет о Германии. Где свобода и тирания, разобрать — голову сломаешь. Вот ты, отец, много знаешь исторического и про Бастилию французскую немного изучал?

— Конечно, приходилось, — ответил Болеславлев. — Сам читал, в бурсе учили. А здесь, кстати, у нас в Твери, одна барышня живёт. Так у неё в шкатулке хранится камень из той крепости. Осколок, так сказать, Бурбонов. Причём бережёт она его, как святыньку, рядом с кусочком коры Мамврийского дуба. Гости приходят — барышня его достаёт, крестится и с заговорщицкой улыбкой говорит: «Вот, примите, подержите сие. На камешке начертан след молнии опаляющей свободы. Вся дрожь земли и причитания обиженных христиан заключены в нём». Причём случается с ней часто в ту минуту странный припадок. Начинает так потряхивать, глаза не на людей, а словно внутрь себя самой смотрят, и шепчет тихо, но довольно грозно: «Какофиты, какофиты, губители Урания русского! Ангелы мщения воздадут вам в День Света!» После, правда, обмякнет, жалуется на звон в ушах, головную ломоту и просит себе сначала святой, потом сельтерской воды, уксуса к вискам и белого хлеба. Ей несут шампанского, яблок, успокаивают, и всё проходит.

— А дуб? — спросил Белюстин.

— Какой дуб?

— Тот, чей кусочек рядом с камешком хранится.

— Не знаю. Он в Палестине, растёт под благодатью Божией.

— Потому зелёный и раскидистый, — заключил гость.

— Да, — согласился Болеславлев. — Это как монахи у нас говорят: «Искушение вышло». А вы, отец Иван, отчего Бастилией заинтересовались?

— Мне про русскую крепость любопытно узнать. Лет 20 как история эта где-то под спудом лежит, и всё, похоже, жива.

Болеславлев, давно привыкший к причудам приятеля, тем не менее от неожиданного поворота разговора даже поставил чайную чашку мимо блюдца на стол. Посмотрел в сторону крыльца, где сидела дочь, на открытое в палисадник окно и в истрепещённое морщинами, рано постаревшее лицо своего седого собеседника.

— Русская Бастилия? Ты, отче, про Петропавловку вспомнил. Там мой знакомый, если знаешь, Мысловский, отец Пётр, по декабристскому делу духовные допросы вёл. Пестеля и других заговорщиков исповедовал. Он особо не рассказывал. Или побаивался, или не велено было, а то и самому неловко все эти кобы вспоминать было.

— Нет, — Белюстин встал, отодвинул стул к серванту и присел так, чтобы его голоса не было слышно ни с улицы, ни в комнатах. — Я не о невском каземате рассуждаю, а про Спасо-Ефимьевский монастырь Суздаля и его затворников: протоиерея Лекторского Гавриилу Фёдоровича и тех, кто с ним по конституционному делу посажен был. Знаешь про это?

Болеславлев что-то, конечно, и кого-то наверняка слышал, но, имея твёрдое убеждение в предвзятости и завираниях народной молвы, к сути дела никогда

особенно тесно не приближался, рассуждая: «Бог на чистую воду выводит всех, в чинах или нет; а особенно ту шельму, что отметил. Не в этом — так в следующем веке».

Про Лекторского разные ходили гулы. Кто говорил о его масонстве, странной привязанности к вольтерьянству и книжкам Дидро, даже о сочинении Конституции. Но достоверным казался случай, приключившийся в соборе Мурома. После Отечественной войны, года через три, протоиерей Гавриил проповедовал за Литургией. Говорил о чём-то высоком, духовном, но вдруг, уже заканчивая слово, упал на колени лицом к народу и стал каяться, поначалу в своих грехах, ну это ладно, а после — в замышлениях против Державы и Государя. Православные оторопели. Те, что из крестьян и простых мастеровых, ничего не поняли, а господа и купцы заволновались, поднялся шум. Из алтаря выбежали попы, дьякон, пономари, мальчишки в стихарях. Лекторского схватили и южными, боковыми дверями вывели на улицу. Утром следующего дня протоиерея объявили сумасшедшим и отправили в Суздаль. Там в Ефимьевском бедолага сидел, а после 1831-го его перевели как раз в Петропавловку по дознанию декабристских дел. Последние десять лет уже возвращённый из Петербурга в Суздаль Гавриил Фёдорович так и оставался под надзором монастырских охранников до самой своей кончины в 1841 году.

Суздаль, тюрьма, князь-декабрист Шаховской, бедолага Лекторский… Каждый раз размышляя над этой мрачной историей, про этот ад под золотыми маковками Спасо-Ефимьевского монастыря, Болес-

лавлев неизменно, полушёпотом произносил библейско-благозвучное имя: Авель. Если бы потребовалось название тихому горному эху, он бы приложил его. Печальное, глубокое первое «А», смягчённое до звука «Ф» второе «в» и мягкий, угасающий последний слог «ель». Старец Авель. Тот прозорливец, смотревший сквозь время, смиренно предсказавший судьбы русских царей: Екатерины, Павла, Александра и, говорят, будущих самодержцев Империи, вплоть до Судного Дня. Ведь он томился там же, за высокими стенами тюрьмы-обители, в низкопотолочных, душных летом и мёрзлых зимой казематах. Что-то внутренним сокровенным зрением он видел, распознавал, пророчествуя о совсем непонятных вещах: летающих, словно птицы, людях, злых, убивающих живое газах и, главное, о конце мира, точнее империи, что, в сущности, равнозначно для тех, кто заточил его в темницу и в страхе переводил из одной крепости в другую.

Знал ли Лекторский, кто томился за стеной его камеры, молился глухими ночами и кому в видениях приходили ангелы Откровения?

Быть может, при случае, скажем, на прогулке. Если там такие бывали — Василий Фёдорович засомневался, — но вдруг встретились бы они с Авелем и Лекторский спросил:

— Отче, а что будет с Россией? С нами, понятно, ничего хорошего уже не произойдёт, а здесь как Промысел Божий повернётся?

— Если человек, — словно продолжая за Лекторского беседу со старцем, размышлял священник, — родился в России, то ему полагается всю свою жизнь не просто под её небом провести и с миром упокоиться, но

ещё долго и тяжело работать или погибнуть в дальнем походе, на чужбине, или бежать в лесную глухомань, на Онегу, к Беломорью — и всё ради чего-то им уже точно никогда не увиденного. Но во всём же есть смысл, какое-то движение и надежда. Там, в одном коридоре с Авелем и Лекторским, была камера и Шаховского. Он декабрист, как и его друзья, ведь не нравственные злодеи, по сути. Хотели добра России и составили заговор против Царя, — так представлял себе эту историю Болеславлев. — Конечно, любой заговор — дело плохое, преступное, но в нашей земле без него мало что получается. В России заговоры бывают различного свойства. Небольшие: скажем, приходской против настоятеля, епархиальный против благочинного, городской, купеческий, дворянский и тому подобное. Но есть ещё один какой-то громадный, безумный, иногда молчаливый, но бывает и грозный: народа против своей страны. Во втором случае кровь, резня, пожары и каторга. А в первом: остолбеневшие лица чиновников, «нельзя ли как-нибудь» — веский намёк на взятку, тоскливые причитания баб, угрюмые песни мужиков, каторжные этапы, неурожаи, болезни, немота крепостных… Лучше не травить этими мыслями, — одёрнул себя священник.

Но тихая мука продолжалась. Приходили даже не сами мысли, а их тени. Словно отброшенные, но не исчезающие ни в свете солнца, ни под углом лучей молитв, они возвращались, и Болеславлев чувствовал неясного порядка тревогу. Он научился различать её даже у прихожан и знакомых. Спросишь, бывало, у здорового, трезвого, серьёзного вида мужика:

— Ты что такой хмурый в праздничный день? Случилось что?

— Нет, — ответит, — слава Богу.

— Ну, выглядишь невесело.

— Да какая тут радость? — напряжётся внутренне, кулаки сожмёт сначала, а после выдохнет и бессильно отпустит пальцы. — Всё, кажется, в порядке, а не пойму: отчего мне тошно?

Потом махнёт рукой, как вроде: «Отстаньте», — и пойдёт себе. Хорошо, если не в кабак. Ему, конечно, не до заговоров. Мается человек. А иногда казалось Болеславлеву, что не столько живёт, сколько именно «мается».

Из многочисленных историй, рассказанных Белюстиным за время их многолетнего товарищества, кроме той, что касалась Лекторского, в памяти Болеславлев держал ещё одну, на его взгляд, уникальную. Она приключилась с чудаковатым протоиереем Герасимом Петровичем Павским, служившим при императоре Александре Павловиче в церкви Таврического Дворца и преподававшим Закон Божий в Лицее Пушкину, Дельвигу и прочим русским пиитам. Белюстин сохранил эту историю со слов своего приятеля, священника Иоанна Базарова, который был не только свидетель, но, кажется, и участник петербургского казуса, который сам и окрестил: «дело шляпных коробок».

Итак, ещё до загадочной кончины царя Александра, когда, по капризам различных высших духовных лиц, еще не упразднили Библейское Общество, отец Герасим перевёл с еврейского Псалтирь на русский и показал свою работу митрополиту, тогда ещё епископу Филарету Дроздову. Дело было в 1822 году. Преосвященнейший перевод одобрил, не поленился составить предисловие, и Книгу Псалмов небольшим

количеством напечатали. Спустя четыре года, уже при Николае Павловиче, трудяга Павский подготовил к изданию первые восемь книг Ветхого Завета. Как слышал Болеславлев, что-то вышло в свет, но дело заглохло, поскольку новый Император к мистическим идеям и прожектам покойного брата относился прохладно и Филарета поддерживал мало. Сам владыка в исследованиях и штудиях не уставал, благо в учёном, богословски настроенном, академическом сообществе люди, пытавшиеся Писание изучать и переводить, только прибывали числом и умением. Павский был, пожалуй, наиболее одарённый и усидчивый. Отец трёх дочерей, рано овдовевший, он жил в мире, где Ангелы Писания пели и говорили громче любых чиновных редакторов или цензоров. Переводя на свой страх и риск, протоиерей не переживал о возможных последствиях, запретах и не думал тем более о наградах. Читая лекции в Петербургской духовной академии, он щедро раздавал слушателям собственноручно сделанные варианты тех ветхозаветных глав и постепенно подготовил даже Пророческие книги на понятном русском языке. Но в 1835-м грянули неприятности. Кто-то из преподавателей пожаловался, священника обвинили в святотатстве, вольнодумстве, почислили из Таврической дворцовой церкви за штат и, в сущности, выдворили из Академии. Сиди дома, живи на «что Бог пошлёт» и делай, что умеешь. Так он умел умом и духом быть, что называется, «на меже» двух миров, точнее, культур и языков. Древней Библейской и неприветливой русской. Поэтому берёгся себе тихонечко, читал и неотступно переводил. В стол, для себя. Неважно, но работал. Дочки за ним ухаживали и вели хозяйство.

Конечно, к ним ходили гости. В том числе и молодые ухажёры из Академии, искавшие себе спутниц в будущей, возможно и поповской, жизни. Девицы, скорее всего, и поделились об отцовских изысканиях. Неизвестно доподлинно как, но один из их воздыхателей, студент Органов, подговорил барышень достать для чтения что-то из рукописей Павского, обещав без повреждения в срок всё вернуть.

Так вот, однажды в шляпной коробке из протоиерейского дома были вынесены списки недавно законченной Песни Песней и Пророка Иезекииля. Ночью в академической типографии сделали оттиски, а бумаги вернули ничего не ведавшему (в этом месте рассказа Болеславлева одолевали сомнения) Павскому. Через несколько дней литографии переводов принесли на занятия по еврейскому языку. Преподаватель возмутился. Вспыхнул недюжий скандал. История вышла наружу, но Павского не тронули. Он настаивал на своём неведении. А переводы не сожгли. Более того, они понравились живостью языка и ясностью содержания. В 1841-м их даже отпечатали в типографии Пажеского корпуса (у Болеславлева был один экземпляр).

От Павского он, по обыкновению, мысленно переходил на его друга и ученика, тоже священника, Стефана Карповича Сабинина. Это был яркой натуры и широкого ума человек. Отец пяти сыновей, шести дочек, он служил в русской церкви Веймара, был духовником Великой Княгини Марии Павловны, много переводил с немецкого разных богословских и философских штудий. Его матушка, всецело женщина одарённая, не только такую детскую ораву на свет произвела, вырастила и воспитала, но блистала зна-

нием европейских языков, литературным даром. Она перевела на русский «Торквато Тассо» Гёте, и хотя понятно, что отец Стефан ей частично помогал, редактировал, но, восхищался Болеславлев, «каково рвение и талант поповской жены!»

Больше всего его, впрочем, поражала книга самого Стефана Карповича. Из Петербурга на святки Белюстин привёз ему подарок с личной подписью автора. На титульном листе красовалось: «Собрату во Христе. Сабинин». А книга называлась «Исландская грамматика». Сам о. Стефан свои работы не издавал. Денег не было. «Грамматику» напечатала Академия наук. Где находится Исландия, Болеславлев представлял себе смутно. Поэтому сначала он ринулся искать в библиотеке все имевшиеся карты, книги по географии, а уже после начал пробовать изучать загадочное наречие. Все святочные дни его воображение было занято викингами, драккарами, гейзерами, айсбергами, многоверстовыми ледяными полями, передвигающимися вдоль холодных берегов Богом забытой земли, и отшельниками, странствующими между западных островов.

Про соседствующие с Исландией страны, Шотландию и Ирландию, он уже прежде немного читал. В Ирландии было великое множество древних святых, каменные, высокие, как в Новгороде, кресты, а в Шотландии жил гордый, воспетый Макферсоном и нашим земляком Озеровым народ, имевший странные привычки в одежде и еде. Ещё Шотландия косвенно связывалась с его собственным приходом, точнее, его прихожанами. Отдалённо, но тем не менее. Пётр Алексеевич приходился внучатым племянником знамени-

тому по Твери Ивану Андреевичу Третьякову. Всяческие истории и небылицы ходили про этого молодого, рано скончавшегося человека. Доподлинно же было известно, что он единственный из тверских поповичей, кто, закончив семинарию, Московский университет, не пошёл по духовной линии, а оказался в Глазго, где в свои неполные 30 стал магистром экономики. Слушал лекции того самого Адама Смита, которого пушкинский Онегин только читал, ну и, наверное, — вздохнул Болеславлев, — много путешествовал, до Исландии мог под парусом дойти.

Океаном Болеславлев грезил. Он и на море никогда не был. Вероятно, от этого морские, океанические образы Писания, сочетавшиеся с различными историями, вычитанными у авторов античных, имели свою притягательную силу. Он любил выражения вроде «Воды потопа очистили мрачный мир» или «Пучина морская», «Водная купель Крещения», «Море видя и побеже», а ещё найденное где-то у Августина: «Зло, омытое океанской солёной волной». Ему нравились мощь и таинственность образов, в которых рисовались воображению глубинные чудовища вроде того, что поглотило пророка Иону. И он щедро оснащал, как судостроитель — новый корабль, свои устные проповеди и небольшие статейки всяческой морской поэтичностью. Мог, к примеру, написать: «Волны гнева захлестнули несчастного злодея» или «Буря обрушилась на неблагодарных скитальцев», а то, по вдохновению, и «Океан человеческого равнодушия, освещаемый луной отчаяния, холодно мерцал до прихода в мир Мессии».

Впрочем, всё это было в молодые годы. Со временем он начал сам себя одёргивать и посмеиваться.

Отправляясь на проповедь, говорил в алтаре дьякону: «Отец, буду сейчас возвещать; если услышишь про всяческие «приливы-отливы или небесные хляби», то, будь добр, урони на пол книгу, какую потяжелей, или лучше даже старый подсвечник. А то заговорюсь, неровен час, и потону в собственном многоглаголании. Помоги нам, Господи».

Ничего не поймав и ничего не придумав, решил засветло воротиться.

Пока шел обратно в город, от сочинительства отвлекли мысли куда более прозаичные и совсем не возвышенные. Болеславлев погрузился в подсчёты будущих денежных трат. Нужно было прикинуть, сколько уйдёт на ремонт прохудившегося навеса над папертью, почём встанет застекление разбитого весенней непогодой фонаря у въездных храмовых ворот, в какую цену обойдётся пошив нового подрясника, сбережётся ли гривенник на починку сапог, рубль на книжки и что-нибудь для заветной коробочки, куда священник аккуратно откладывал деньги дочкиного приданого.

Деньги приходили тяжело, туго. Продукты, особенно летом, ещё приносили, но расплачиваться за требы живой копейкой народ особо не любил. Просить было неловко, а за молебны по домам и панихиды на могилках кто что давал. Мука, соль, мёд, сушёная рыба — хорошо, конечно, но сапоги на эти пожертвования не купишь и старые не вдруг подлатаешь.

Из собратьев-священников — тех, что порасторопнее, — выходили завидные мастера сочинений. Некоторые умудрялись целые гимны слагать про богоугодные приношения и спасительные для души церковные вклады. Другие развивали в себе дар торговли, а тре-

тьи, из совсем отчаявшихся, отправлялись на ярмарки в Нижний или Саратов, чтобы, как говорили, стоять на перекрёстках, за сущие гроши предлагая свои молитвенные услуги.

В денежных вопросах Болеславлев как-то мешкался, смущался. «Что, батюшка, изволите принять в приношении?» — спрашивали его заказавшие молебен или панихиду люди. — Может быть, десять копеек или охотнее литровочку своей домашней наливки?» Он думал: «Хмельного, конечно, брать не стану, а скажешь, что «десять довольно», так больше и не дадут; недовольно промолчишь — сочтут жадноватым, но и отвечать в духе «сколько не хлопотно вам» — рискованное занятие, поскольку проверено уже — могут и мелких яблок корзину насыпать».

Старый приятель ещё с семинарии, настоятель храма в Прутне под Торжком отец Никифор дал однажды совет: «Ты, брат, на вопрос “Чем обязаны?” так определяй: «Священнодейство в двугривенный достойно обходится, а так, конечно, сколько помилуете. За всё будем Бога славить».

Для деревни совет был хорош, но в городе мог и не пригодиться. Здесь, как давно это понял Василий Фёдорович, всё иначе складывалось. Простой народ видел в священнике некоего странного полубарина. В шляпе, на подводе с мешком зерна, в палисаднике с лопатой, на базаре с матушкой и корзиной провизии, на речке с детьми, с книжкой в саду, в штопаной рясе, в грубом полушубке, трезвый или навеселе — батюшка везде смотрелся несколько двусмысленно. Над ним подтрунивали, его боялись, чурались и любили попеременно.

Дворяне различали в священнике грамотного, образованного, но всё же мужика. Те, кто из дворянства принимал монашество, метили, понятно, в епископы, если не по личным причинам бежали из мира.

И с крестьянами, и с дворянами нужно было ладить. Не дружить, упаси Бог, а именно «ладить». То есть за версту огибать различные неприятности, терпеть, если необходимо, капризы, грубости, а в случае народного подпития — и хулиганство. Крестьяне были уверены, что «барин попу с голоду помереть не допустит», а дворяне рассчитывали на простолюдинов, которые «с духовными одного поля ягоды и сберегут, если нужда случится». В довершение ко всему, после реформ Николая Павловича и те и другие без особого доверия, но кивали в сторону государственного департамента, что должен был духовенству платить жалование. Городских ещё как-то содержали, но к деревенским иереям эти казённые деньги доходили хуже некуда, и было их до смешного мало.

«Да, — сам себе сказал священник, — как точно подметил Константиновский: “Гоголя на всю Россию никак не хватит. Нужно святую дюжину таких рыцарей иметь”». В памяти всплыл прошлогодний праздник пророка Ильи, что соборно отмечали в Твери.

В тот день жар стоял невыносимый, летне-северный, густой берёзовой влажности. Утром казалось, что просыпаешься в предбаннике: хочется пить и, заплыв на середину Волги, нырнуть к её прохладному дну. Вечером, окончательно умаявшись солнцем и пыльным его зноем, он мечтал запереться в погреб, осветить там всё свечами и поджидать завершения дня.

Но праздник требовал своей вечерней жертвы в виде архиерейской трапезы. Собрались в консистории.

После обильного, сытного ужина, который состоял из шести или семи перемен чая, пунша, кофе, подорожной анисовой рюмочки и странных, путаных разговоров, перескакивавших то в тост, то к песне или анекдотам, смысл которых мало уже кто понимал, некоторые гости порешили отправиться в Торжок на новую ярмарку прямо из-за стола, не дожидаясь следующего дня. Терпеливо выдержавший всё это епархиальное веселие отец Матфий откланялся братии и, взяв благословение владыки, поспешил домой. Кто-то из разгулявшихся отпустил ему в спину: «Наше утверждение истины поскакал на ржевские горы для новой брани со старым обрядом. Помоги ему святой Георгий!» За шумом это напутствие никто толком не расслышал.

С отцом Матфием Болеславлев приятельствовал давно. Ржевский протоиерей был человек не только умный, начитанный, но ещё и с даром жаркого проповедника. Если глаза его начинали сверкать, морщины на лбу разглаживались, то любой слушатель понимал: священник не костёр на маяк разжигает и сам словно пылает изнутри. Ему верили, его любили, побаивались, а что самое чудо, исполняли советы с лёгкостью, свойственной добродушным мечтательным детям. Даже, как узнал случайно Болеславлев, странный сочинитель Гоголь что-то такое из написанного бросил в печь после исповеди у отца Матфия.

Только ржевские старообрядцы протоиерея не жаловали. Шипели, шушукались, шашни сводили. А Матфий, словно у него в кармане подрясника лежит

присланный ангелами План, бесстрашно обличал раскольников. Ржев был иногда на грани бунта, и чем сильнее шло волнение, тем спокойнее выглядел и увереннее проповедовал священник.

В тонкости споров вокруг старого обряда Болеславлев вдаваться особо не любил. Тверские старообрядцы были, по его наблюдениям, людьми сердитыми, не письменными и вовсе не литературного настроения. Несколько лет подряд один из их слободы, немного повредившийся умом бакалейщик, бродил вокруг Владимирской и приставал к прихожанам с рассказами о комете, что «летела-летела, упала в болото, и выросла гора, на которой и объявился двести зим назад антихрист». Рассказчик замирал, поднимал руки над головой, резко вдруг падал на колени и, быстро вскочив, продолжал сообщать ошарашенным слушателям: «Враг теперь царствует. Рассылает по Руси свою печать. Она неразличима, призрачна и поставляется тому, кто примет вид на жительство. Но самая последняя кончина мира, знаете, грянет в день, когда исчезнут все бумажные деньги». При этом лично бедолага жил в собственном каменном доме и ассигнации бережно копил, точно желая кончину ту отсрочить.

Ещё Болеславлева смущала история о том, как протопоп Аввакум, горячей, без сомнения, веры человек, насаждая в Юрьеве-Польском, как, может быть, ему самому казалось, всякое благочестие, выбивал с крестьян венечные налоги и почеревные штрафы за внебрачных детей и незаконное сожительство. За полтора месяца владычества так разошёлся, что уже начал самолично судить двоежёнцев, троежёнцев, а тех,

кто возмущался, скоро смирял батогами, покуда посадские его не выгнали.

Изредка разговаривая с мирянами из старообрядцев (священники их и шляпы при встрече даже не снимут), Болеславлев вспоминал басню Красицкого, где золотых дел мастер рассуждал, что носы созданы природой для табакерок. «Так и эти, — говорил он сам себе, — упрямо склоняют всех, что церковь основана Богом для соблюдения Кормчей и чтения Измарагда. Батогами, конечно, и наши архимандриты крестьян полосовали, и в Петров заставляли говеть, и с тех, кто в храм по воскресным дням и владычным праздникам не ходит, по алтыну взимали. Но не все таковы. Были же епископ Аполлос и друг Державина преосвященнейший Евгений Новгородский. Помоги Господь Филарету Дроздову Московскому, хотя и зря он Белюстина обижает».

В целом же казалось, что обе стороны чего-то недоговаривают, перевирают и священники морочат головы своим прихожанам, из которых вообще только самые зажиточные держат дома по сундукам и шкапам Священное Писание, а если кто читает, так мало что понимает. В храм придёт с вопросом — домой вернётся с пятью.

Из числа редких встреч и бесед с отцом Матфием Болеславлеву запомнился другой разговор, состоявшийся чуть позднее, на крутом левом берегу Волги, напротив Успенского монастыря, в Старице. Они тогда ждали приезда в обитель архиерея, и прогулка завела священников на противоположную волжскую сторону. Река здесь делала небольшой поворот, и про-

тоиереям открылся чудный вид на речные дали, освещённые мягким солнечным светом, что играл по воде и на куполах храмов. Они молча полюбовались широким волжским простором, белыми стенами крепости-монастыря, и Болеславлев, как будто сам себе, сказал:

— Сколько по России сейчас красивых, тихих, благодатных обителей. Жалко, что народу в них год от года меньше становится. Монастыри и те хиреют. Даже здесь совсем мало иноков осталось, по сравнению с прежними годами. Люди, посмотрю, и молятся, и мечтают, и думают. Но словно сердца их в иных местах.

— Да, — согласился Матфий, — думающих, так тех вообще обыщешься. К чему простому мужику в размышления пускаться, если работы непочатый край, а всё самое нужное, житейское, да и святое у тебя за огородом, на приходе. Если невмоготу станет, то в паломничество отправляется.

— Так ведь уходят. Дом оставляют, и вперёд, в Китеж, к тайному иноку и другим чудесным делам.

— Ты, отец, — Константиновский улыбнулся, — сам, может быть, веришь в тайну Светлого озера? На сказочное спасение России надеешься.

— Бог с тобой, отче, — Болеславлев грустно вздохнул, — наша земля, похоже, имеет загадочное призвание: вечно умирать, гибнуть и неизменно возрождаться. История у нас, если от Владимира, то совсем короткая. Но в ней столько гибельных поворотов и нежданных взлётов. Я сейчас именно про Китеж рассуждаю. Есть он или нет — дело второе. А вот почему столько народу в него верят и пускаются в паломничество, так и неясно.

— Сколько — столько? — отец Матфий недоверчиво хмыкнул. — У нас во Ржеве, знаю, какие-то бабки из старого обряда об этом любят посудачить, но приходским не до чудес подводных. Хотя слышал, что из Зубцова отпущенные крестьяне, на Владимирскую, так к самому Светлояру отправлялись. Селятся там, говорят, в землянках, по озёрному берегу, в клетях у богомольцев таких же. Слушают колокольный звон из-под воды, что якобы раздаётся, и крестным ходом вдоль озера путешествуют. Но это свободные, кто к осени с работами справиться успел, или из мастеровых.

— Знаю одного такого, — согласился Болеславлев, — в Твери на ярмарке торгует замками, крюками и всякой кованой утварью. Разговорились однажды, и он рассказал, что был на Светлояре и слышал от инока, что при часовне живёт, историю про купца из приезжих. Тот, видимо, самодур был, решил на лодке по озеру поплавать. Его не смогли отговорить. Поплыл и чуть не утоп. Днище лодки за подводный крест зацепилось. Стал тонуть, но чудом спасся.

— Поэтому, — согласно кивал Константиновский, — паломники там не купаются, рыбу не ловят, ведь если в Светлояр сети бросить, то по всей Волге улова не станет. Только не пойму, к чему вся эта легенда и кликушество вокруг неё.

— Словно и не очень запутанно, если разобраться, — рассуждал отец Василий. — Китеж, для верующих в него, незримая часть Церкви Небесной. Вечной. Если ещё при земной, тленной жизни хочешь стать очевидцем, тайнозрителем, как они говорят, Царства Божия, его Правды, то пройди через особые врата Светлояра и увидишь Небо на земле.

— И всё это минуя смерть? Так ведь они считают? — уточнил ржевский священник. — Похоже, что смерти нет для тех, кто вошёл в Китеж. Точнее, она есть, но как бы отсрочена. Став жителем Китежа, ждёшь Второго Пришествия.

— Под водой и до Страшного Суда?

— Не уверен, но, кажется, именно так.

— Вот ведь незадача, — Константиновский стал раздражённо мрачным, — любит наш народ прятаться, пережидать, хорониться. До лучших, как говорят, дней. Вот посмотри, — он указал на Успенский монастырь, — видишь шатровую, дониконовскую церковь?

Болеславлев кивнул.

— Конус на манер готических, западных шпилей. Словно храм, рвётся в небо. Разорвать хочет низкие тучи. Грозный Царь повелел выстроить. Убил старицкого князя и в знак покаяния, примирения возвёл. А рядом, видишь, луковки, как грибочки, под которыми хочется спрятаться. Уютно, к земле ближе. Ветер, дождь — всё нипочём. Пройдёт, минует непогода, солнце не только высушит, но и позолотит. Любо-дорого. А если как китежане: с луковками, крестами, да ещё и глубоко на дне тихого озера — чистая благодать. Вечная Пасха.

— Много морока в нашей жизни, — заключил отец Матфий, — русские люди от плохонькой земли, холодной погоды, долгого зимнего безделья впадают в уныние, но чудо: в фантазиях расцветают. И не только русские. Есть у меня один малоросс, писатель талантливый. Ты, верно, слышал: Гоголь Николай Васильевич.

Гоголь казался Болеславлеву человеком очень одиноким и несчастным. Такой глубокой нездешней

тоски. Его словно преследовал даже не страх, а ужас от людей и самой жизни. Он бежал, пытался смеяться, насмехаться над всем, чего так боялся, но страх настигал и душил этого странного писателя, с небесным дарованием сочинявшего мрачноватые истории. Ещё со своих молодых лет Болеславлев внимательно читал всё, что выходило из-под пера Гоголя. Он видел, как весёлость Диканьки и Миргорода менялась у Николая Васильевича на мизантропию и тоску по человеку в России.

— Я, знаешь, — пояснял он дочери свою растерянность после прочтения «Шинели», — люблю простые повествования. Не в смысле сюжетов, а главного: идеи, что ли? Вот, к примеру, «Дон Кихот» — всё же понятно. Ясная, христианская книга. Или «Капитанская дочка» Пушкина; из иностранных возьми про Гулливера у лилипутов, а у наших старинных — «Рос-

сиаду» Хераскова. Скучновато местами, но, если привыкнуть, тем более в бессонницу, очень даже хорошо. Гоголь же — другое дело. После его рассказов и не уснёшь. Голоса, фонари, кареты, падающие с мостов, и люди, один другого краше пороком или уродством. Всё почти губительно и мрачно. Автор словно белой тростью мусорную кучу разворошил, вывернул, а сам стоит, тонкими белыми губами улыбается, полушепчет: «Вот она ваша Россия. Хотите, смейтесь. Нет? — Так рыдайте, но только здесь вам жить и помирать. Другой России не будет во веки веков».

Болеславлев был уверен: в мире, как это ни покажется странным, добро побеждает зло. Вернее сказать, что мир зол, потому что в нём победило добро, но победа эта скрыта от невнимательных глаз. Христос победил мир, принеся жертву, после которой другие жертвоприношения потеряли всякий смысл. Но низверженный, побеждённый мир всё так же лежит во зле и продолжает с увеличивающейся жестокостью это зло из самого себя исторгать. Агонизирует им. Как творение, над которым веет Святой Дух, мир благ, и ничего ужасного с ним не случится. Однажды он завершит своё бытие, сгорит, чтобы дать место совсем другому миру, но не станет злым, чёрным, где беззаконие считается добродетелью. То, что создал своими руками Господь, злым быть не может. Дом, город, страна, собрание людей какое-нибудь — могут, а Он — нет. Человеку тяжко не от того, что он живёт в коварном и злом мире, а от того, что погружён в разлитые мутные воды неправды и несправедливости. Зло захватывает человека, словно паводок поймы чистых ручьёв заливает в половодье. И не его одного. Посмотришь, а вот

целая семья, деревня, город, даже страна не разрушены, сожжены, а именно подтоплены. Внешне всё живо, действенно, но в растяжении времени, в ожидании, когда схлынет мутная вода, солнце высушит дорожки, зелёные палисадники и мощёные площади. Можно будет своими ногами ходить по земле, без всякого страха, а не плавать на лодках или плотах между храмов, домов и городов. С опаской и недоверием.

Василию Фёдоровичу нравилось это выражение: «подтопленная страна». Он часто и почти физически мучился от тяжёлого чувства отсроченности жизни, условности событий. Казалось: вот скоро будет самая настоящая, самоя настоящая полная жизнь, а пока только пробы, подготовка… Предвестие весны. Время преднастоящее. Люди, с которыми было нужно вести дела, как личные, так и церковные, легко давали обещания и наглухо пропадали. Не приходили, не отвечали на письма. Даже не обманывали, но словно их смывало талой водой, сносило в недоступные дали.

«А вот Гоголь, — священник вернулся к своей прежней мысли, — он во Ржев на лошадях добирался из Москвы или, бывало, плыл на кораблике вверх по Волге из Твери? Вряд ли по воде. Пароходики ещё не ходили. Жаль, конечно, красивое путешествие могло быть». В прошлом году Болеславлеву привелось в конце августа подняться на небольшом судёнышке до самой Старицы. Тёмная река бурлила в полноводных заворотах, поднимала волну к волне и барабанила по обшивке посудины. Погода была золкой, и ветер выдувал дурные запахи из трюмов, где расположилось много путешествующего люда. От качки отец Василий не страдал. Можно было стоять на верхней палубе, крепко ухватившись за по-

ручни, и вглядываться в линию берега, леса, утлые лодки рыбаков, огни деревенских изб на косогорах, главки церквей и тёмные заводи. На Рождество священнику подарили богатое издание «Одиссеи» в переводе Гнедича. Ещё семинаристом он прочитал «Илиаду», а эта история греческого героя только недавно попала в руки и захватила воображение отца Василия. Он, в такт пляшущих волн, сочинял свой гекзаметр:

О Волга, вечно юная стихия!
Я Одиссей, скиталец твой без срока,
Плыву к брегам Итаки златоверхной
И там себе найду покой глубокий.

Болеславлев обрадовался родившейся строфе, отыскал обломок карандаша в кармане и тут же, невзирая на лёгкую качку, записал стих в дорожный блокнот. Прошёлся по палубе; остановился у левого борта. Проплывали мимо сельца Иванищи, где на косогоре белела небольшая и очень красивая церковь. По туманному местному преданию, в ней в какой-то очередной раз венчался царь Иван Васильевич. После затворнического сидения и молитв в Старице прискакал сюда для нового брака. Так говорила народная молва. Кораблик боролся с течением и боковым ветром, пробираясь всё дальше вверх. Василий Фёдорович уже не просто смотрел на берег, но почувствовал себя немного Одиссеем, и ему казалось, что вся эта земля словно сошла с некоего полотна, скорее, литографической картины, ибо чёрно-белые тона преобладали. Она удивляла странным сочетанием гармонии природы и случайностью, бестолковостью присутствия

в ней человека. Болеславлев думал и мечтал о других странах. Особенно ему хотелось попасть в Иерусалим. Причём не единожды священник представлял, как сначала отправится в Киев, спустится в святые пещеры. Потом доберётся до Одессы, а оттуда, через море, на настоящем, огромном корабле приплывёт в Туретчину, к Софии Царьграда. Из Константинополя, если всё сложится хорошо, завернёт на Афон, а уже со Святой Горы прямиком в Яффу. Там, слышал Болеславлев, есть монастырь святого Георгия, где хорошо принимают русских паломников. В самом Иерусалиме можно остановиться и пожить как вдовому священнику в Архангельской мужской обители. «Но в путь отправляться нужно, — рассуждал Василий Фёдорович, — ранней осенью, до Рождественского поста или уже после Пасхи, хотя там, говорят, к тому времени большая жара устанавливается». В общем, желания и планы в голове роились, но всё откладывалось, и из-за дел, и по причине отсутствия сбережений. Так что для небольшого успокоения он сам говорил себе: «Вот сделаю всё намеченное прежде, выполню обещанное дочке и прихожанам, приберу все могилки, раздарю книги, иконы, вот тогда пойду и поселюсь в Иерусалиме до самого дня, пока Господь не призовёт к себе в Иерусалим небесный. А так что шататься, рискуя собой и домашним благополучием?» Никуда не пошёл. Однажды пожертвовал рубль серебром тверскому паломнику. Дал помянник о живых и усопших и отложил размышления до следующего раза.

Поделиться этими планами, как и многими другими соображениями, ему было, в сущности, и не с кем. Уже к пятидесяти годам священник перестал просить

себе у Бога новых друзей. Старых почти и не осталось. Кто умер, кто потерялся по жизни. Он понял, что такого благодеяния больше не даётся. В иные минуты приходила мысль: «Избавлен от искушений». В факте отсутствия пустого приятельского круга была и своя польза. Принятые в Твери длительные поповские посиделки, как их называли, «гостевания», бывало, затягивались не только далеко за полночь, но продлевались на следующее утро. Занимали несколько дней, а то и неделю. Тогда они могли превращаться в тяжёлые уже «перегащивания», когда, к примеру, с одного приходского праздника, весело отметив попразднество, поев, попив и выспавшись, устраивали хмельной ужин, а поутру ехали на другой приход к Литургии, которую, с трудом отслужив, отмечали затяжным многоблюдным и бражным обедом. Потом, разомлев, по обычаю кемарили, даже не всегда покидая общее застолье; а только очнувшись, принимали «по маленькой» и, уже изрядно осоловевшие, принимались за неизбежную вечернюю трапезу. В основном доедали и допивали дневное. В зябкие осенние месяцы, когда в огородах работ уже не было, а до Филипповок ещё ждать и ждать, среди сельского духовенства такие перегулы — дело обычное. В городе, конечно, построже всё, но Болеславлев и таких старался избегать, тем более что на них приходилось терпеть не только от винного краснобайства особо загулявших собратьев, но и от жаркой карточной игры. Азарт и сивушные пары доводили такие застолья до драк, а не только побитой посуды. Больше всего Василия Фёдоровича расстраивало участие в этих отцовских гуляниях их отпрысков, юношей-семинаристов, гостивших не только на Святках, но и другими днями. Поповичи чувствова-

ли себя вольготно, но, разогретые вином или брагой, подтягивали не родительские песни про чёрных воронов и ямщицкую степь, но начинали декламировать вздорные политические стихи и заводить глупые безбожные разговоры с захмелевшими родителями.

Милые, добрые, сильно угостившиеся папаши и половину сказанного не могли понять, но восхищённо подбадривали, обращаясь к сотрапезникам: «Смотри, брат, как лепит наш богослов! Давай, Микола, ещё про небесное и сферическое. Как бишь то нарицаемо, не повторить мне эдакость сию». Ничего философского, да и просто разумного поповичи не изрекали. На одной такой странной трапезе Болеславлеву подумалось: «Ещё лет десять, и при развитии этих настроений какой-нибудь умник не поленится и над тверской семинарией выбросит красный флаг».

В Тверь вернулся вовремя. Дождливое небо уже нагоняло его. Распряг повозку, отнёс в дом вещи, позвал дочь. Никого не было. Помедлил на кухне с чаем и решительно отправился за письменный стол.

Несколько минут священник прислушивался к звукам, бродившим по дому и тропинкам сада, усилившемуся шуму и нараставшему перестуку капель. По крыше всё громче барабанил июльский дождь. Его косые перехлёсты с каждым мгновением решительнее бились в окно, вскипали первыми пузырями лужиц у крыльца, трепали широкие листья смородины. Словно на вздохе, дождь усиливался, почти захлёбывался и уже с новым шумом выдыхал свою грозовую свежесть. Сад не столько омывался его потоками, сколько терпеливо их выдерживал. Пережидал.

Болеславлев глядел на ливень и размышлял о тех знакомых и вовсе чужих людях, кого полагают сильными мира сего, кто и сам озабочен собственной значимостью, важностью, но и в ум не возьмёт просто разрешить себе слушать эту бойкую дробь, ни за что не соберётся подарить время вечернему, как он называл, «священному ничегонеделанию», когда сидишь на крылечке и словно впервые разглядываешь оплетённые хмелем кусты жимолости, низкие яблони, старую грушу в самом углу садика. Он жалел тех, кто не отыщет и пяти минут для того, чтобы подышать влажным паром, поднимающимся от крыши, что остужает этот дождь. Он сочувствовал несчастным посетителям приёмных, участникам раутов, заложникам очередей присутственных мест, благословляющим и благословленным обитателям консисторий, калякающим в коридорах распорядителям кабинетов и вообще всем тем, кого сближали «случайности общественной жизни» — те самые, от которых по коже и под кожей продирает мороз.

Таких было немало, и священник даже как-то однажды попробовал разделить их на три группы, или класса, для удобства запоминания. К первому относились те, кто считал свою жизнь не просто наполненной смысла, но и единственно правильной. Они не умели улыбаться, а та конвульсия, что до́лжно было бы счесть за улыбку, редко пробегала по их лицу, по крайней мере во время служебных дел. Во второй класс им были определены бедолаги, которым кажется, что они спят, видят жуткий сон, хотят крикнуть, но не могут. У них был всегда очень озарённый, нервический вид и горькая ироническая полуусмешка в угол-

ках губ. Третьи растерянно и беспомощно улыбались, входя и покидая любого вида кабинеты и приёмные. Обитатели первого класса отличались практически полным отсутствием прямодушия и чувства правосудия, любили дела духовно-политического шпионства и раблезианские взятки. Во втором было принято безыскусное хамство, придурковатость и жадность к подношениям любого вида. Класс третий, ввиду его придавленности, особыми чертами не отличался, и его обитателей было жальче всего, поскольку большая часть болеславлевских прихожан принадлежала именно к нему. Но нужно было сочинить нечто такое, что было бы выслушано и забыто всеми из упомянутых им групп.

Проповеди Болеславлев писал неторопливо. За одну брался издалека, осторожно, что-то наперёд почитывая, проговаривая разные мелочи вслух. К ней можно было возвращаться неоднократно, править и переделывать. Она как бы дремала и не требовала скорых усилий. Другая удавалась почти сразу. Словно текст её прежде где-то хранился, а проповеднику и нужно было только что выложить на стол пыльные страницы, смахнуть мелкий мусор и аккуратно переписать предложение за предложением. Третьи, эта была, похоже, из такого числа, буквально «вычерчивались». Сначала на больших листах он рисовал схему, значками метил то, что называл «оборотами»; двойными галочками — «выводы». Затем на четвертинках помещались цитаты из Писания и Отцов. Первые он помечал обычным крестиком, вторые — «софийским», с кругом. Линованные осьмушки предназначались для собственных мыслей, а половинки

священник отводил под «прескрипты» — варианты обращений. Ещё оставались особые, купленные в Москве плотной бумаги страницы, которые сшивала суровой ниткой дочь. На них сохранялись некоторые общие выводы и то, что он сам называл: «поучительные скрипты».

В молодые годы, ещё до священства, Болеславлев полюбил апостола Петра. И сам его образ, и горячие слова кратких, но ярких посланий, и большая внутренняя сила создавали вокруг этой личности притягательное свечение. Сомнения, страхи, с которыми сражался апостол, были понятны, и, не оправдывая Петра, он всегда ему сопереживал. Напротив, апостол Павел казался человеком довольно одиноким, сложным в своих мыслях и трудночитаемым. Он был мудрец, но без ключей Царства Небесного. Когда Болеславлев принял сан, то и для себя самого, и для вопросительно замиравшего на проповеди народа начал потихоньку разбираться в Павловых словах. Дело усложнялось тем, что перевести на русский с церковно-славянского некоторые выражения, пересказать идеи было чрезвычайно сложным занятием. Смысл не то что бы ускользал, но вообще не улавливался.

В семинарии Новый Завет у них преподавал старенький протодиакон Верёвкин. Так, если случалось, что бурсаки потехи ради начнут донимать его каверзными вопросами о том или ином выражении апостола, даже предлагают собственные варианты перевода с греческого оригинала, то Верёвкин негодовал чрезвычайно. Он багровел лицом, суетливо сгребал в кучу лежащие на столе книги, тетради, громоздил из всего этого высокую неровную пирамиду, опирался

на неё левой рукой, воздевал правую вверх и басил, как в храме: «Олухи карельские! Святой и первоверховный учит вас читать Номоканон, Минеи, утреннее Правило, Писание, и тогда всё яснее ясного станет, а Божественное ангелы при необходимости растолкуют. Ясно вам?»

Ничего, конечно, не прояснялось от этих советов, но и расспрашивать далее никто не собирался. Было как-то неловко подходить, скажем, к инспектору семинарии, любившему повторять: «Вы, отроки, читайте. Неясное и туманное Дух Святой, если захочет, откроет. А если не станет, так, видно, для спасения оно и ни к чему вовсе». «А вдруг люди что спросят?» — предполагал упрямый семинарист. «Люди? — отстраненно улыбался инспектор. — Они сегодня до одного любопытны, а завтра, глядишь, забыли, о чём речь шла». И далее, совсем уже замысловато: «Церковь — это как корабль во время шторма на житейском море. Стихия бушует, мечется, а ты знай своё дело: бегай по шкотам, ставь мачты, вяжи узлы или что там ещё потребуется. Плыви, одним словом, и кончен разговор. А если будешь вопросами сыпать и головой вертеть, сам потонешь и других загубишь».

По молодости ему хотелось говорить духовно и высоко. Он верил, что вдохновение расшевелит мозг, раскачает речь и подберёт яркие правильные образы. К сорока годам восторженность и витиеватость были остужены самой жизнью, а к пятидесяти он вообще осторожничал с категоричными и строгими высказываниями.

«Вот ведь, — он рассуждал, — до матушки-императрицы Екатерины поп народу говорил с амвона:

«Вы грешники, злые, нераскаянные, лживые и потому несчастные. Все, кто сегодня пришёл. И каждого Бог судить станет». Люди понимали, что духовный их обличает и правильно делает. Сам, может быть, и не ангел совсем, но поставлен свыше, и у него свой ответ перед Господом. А теперь, после Указа, что народ слышит? — «Мы, прости Милостивый, все грешники, все нераскаянные и падшие». Все — это никто лично. Стадо, но не Христово, а некое, из Генисарета словно. Если церковь — корабль, а священник как капитан, то, если все тонут, и погибать не так страшно. Вместе, приходом или монастырём. Но ведь Бог судить станет не общину или там православное царство, а каждого отдельно. Но и это ещё не всё. Многие русские люди, особенно из мещан и купечества, верят не только в Бога, но и в святое героическое прошлое своих предков, в особый путь и предназначение российского Царства. В мире множество народов за тысячелетия обжилось, и у каждого своя не то что бы идея, а особое понимание главных и из преданий сотканных событий. В их правдивость, истинность верят горячо и религиозно. Но, к примеру, греки или римляне свои древние легенды понимали исключительно исторически: волчица, Ромул, Рем и Рим. А ирландцы, наоборот, прошлоё своего народа рассматривали мифически, воспринимая себя как потомков полулегендарных воинов-духов, заселявших земли отцов. Мы же русские, в давнем поиске чего-то основополагающего воспеваем гимны своему баснословному, почти и нелетописному прошлому, словно ритуальный фимиам уже принесенной жертве, в отчаянной надежде получить награду на этой стороне жизни.

Нам хочется чувствовать себя яркой, героической, с особым предназначением землёй, больше чем просто уютным и надёжным пределом присутствия Господа». За размышлениями минул час. Дождь кончился.

Влажная прохлада робкой волной уже стелилась из густых кустов малины в дальнем углу сада, поднималась над травой стволами низеньких яблонь, накатывала к порогу дома, медленно забиралась в створ открытого окна. Болеславлев вдыхал эту вечернюю свежесть — преддверие густой и короткой летней ночи. Хотелось прикрыть глаза, не уснуть, именно опустить веки, коснуться лбом ладоней и в этой неподвижности посидеть несколько минут, прислушиваясь к шорохам сада. Но тишину разрывали собачьи лаи, дальние голоса с Волги, и сердечный покой никак не наступал, поскольку дело дня не завершалось или, как говорил сам священник, «не вымучивалось».

Немного подождав, отец Василий разложил все прежде подготовленные страницы «Приветствия». На правом уголке столешницы поместил два листа, подписав вверху каждого «зачин». На табурете слева от стола положил карандашный набросок, сделанный на рыбалке; возле подоконника, на этажерке, четвертинку страницы с титлом «благопожелание», а в горшок с геранью воткнул кусок белого картона, на котором жирно было выведено только одно слово «финал».

Внимательно осмотрев все приготовления, Болеславлев принялся медленно бродить между точками этого никак не складывающегося маршрута письма.

Обычный внутренний монолог продолжался: «Ну что же, скажем Его светлости, что мы, тверские жите-

ли, довольны и даже безмерно счастливы его приезду. Почему «безмерно»? — Потому как тосковали, печалились в своём одиночестве и оставленности. Или ещё от того, что долго мечтали, ожидая высочайшего визита и радости, его сопровождавшей».

Священник помедлил. Ещё раз попробовал произнести только что сочинённое. «Нет, — одёрнул себя, — ерунда какая-то выходит. Надо проще. Как хорошо, Ваше высочество, что Вы приехали! А то грустно нам без парадов и экипажей. Одни ярмарки и гулянья под гармошку. Так ведь хочется чего-нибудь яркого, живого. Маршированний, громогласности и победостопности!»

«Так, — он вновь остановился, — кажется, я новое слово от усердия изобрел. Совсем плохо дело. Новые слова только гении или преступники сочиняют. Первые — по наитию, вторые — чтоб злодейство скрыть. Надо ещё понятнее и проще. Скажем так: “Ваше посещение Твери — большой и светлый всем нам праздник. Как именины”. — Пойдёт», — довольно заключил Болеславлев. Сел за стол и аккуратно записал.

Решил, что теперь к месту и «рыбная метафора» вставится в текст. Дальше поместятся пожелания здравия, всяческие обещания, заверения и прочие вежливости.

Сумерки сгущались. В прохладу добавились новые запахи. Громче прежнего стрекотали сверчки. Неумолимый сон смежал веки отца Василия. Он отпил приготовленный отвар иван-чая. Продолжил:

«Среди земель российских тверская велика, знатна и всеми почитаема, как многославная и древнейшая! В короне самодержавной власти она словно богоустроенное украшение, в блистании, почёте и монаршей мило-

сти». Болеславлев перечитал дважды. «Здорово! — произнес вслух. — Пышно, толком ничего не понять, но и ни к чему не придерёшься. В епархии должно понравиться. Они там на таком языке разговаривают и даже думают. Нарочитый язык. Как китайский. Всё на тональности построено. Выше, ниже, человек глаза округлил, подбородок вперёд, и лицо такое благодушно-остолбенелое делается. Чужих там быстро по лицам распознают. Потому и переписку канцелярскую любят. За бумагой голоса живого не слышно, что и хорошо. Ничто не раздражает».

Воспоминания вновь рассеивали его внимание, увлекали от малоприятного занятия. Священнику пришло на память наставление покойного учителя греческого, слышанное давным-давно ещё в семинарии. Высокий, седой «Кайрос», так за глаза бурсаки называли Константина Сергеевича Сомова, преподававшего древние языки и литературу, говорил зычно и строго:

— Хотите, братцы, хорошее сочинение, тем паче проповедь смастерить — читайте поэмы; собрались тёплое послание родным или даме сердца — читайте стихи из журналов, а решите виршами изъясняться — извольте открыть томик Ломоносова, Петрова, Державина или хотя бы Пушкина Александра Сергеевича. Ваши головы от поэтических звуков, обилия глаголов, причастий и ударных слогов быстро на верный лад настроятся. Хореем, ямбом по сердечным нотам пробежите, гекзаметром и анапестом нёбо своё очистите, а там язык складно и заговорит.

— А разве эти хореи с амфибрахиями, спаси вас Господи, сами по себе способны мысли достойные рождать? — недоверчиво спрашивал кто-то из семинаристов.

— Ну конечно! — Сомов энергично кивал. А затем, словно пытаясь поймать невидимую птицу, хлопал над головой в ладоши:

— Поэзия — это как беркут, взмывающий вверх, как язык колокола. Да, именно так! Один раз ударили, и звук пошёл. Другой — начался перезвон. Родилась строфа, там следующая, вот и музыка, то есть поэма.

«Что бы такого из стишат припомнить для всей этой писанины?» — задумался отец Василий. Хаотично и бестолково в голову лезли какие-то отдельные строчки, выражения и фразы. В уголке страницы машинально вывел строфу из Тредиаковского: «О, лето прегорячее! Ты мухами обильно паче. Но тем ты, лето, мне любовно, что прегрибовно». Последнее слово дважды подчеркнул. Ему захотелось развить эту трогательную неуклюжую форму, и он записал: «Вы, Ваша светлость, превеличественны и даже прецарственны». Подождал продолжения вдохновения. Но мысли сносились в другую сторону: «Грибы хороши в сентябре, особенно если это рыжики или грузди. Но в августе замечательны белый гриб и красноголовки. А наследник у нас особа августейшая, то бишь в своём роде и грибная, поскольку она преавгустейшая. Но это полнейшая беда! Так писать нельзя. Прочтёт кто и скажет, что я цесаревича грибом называю, под императорской фамилией подразумеваю грибницу. В острог отправят. Подышать суздальским сквозняком. Ну уж нет». Болеславлев перевернул листок с поэтическими поисками. Поразмышлял над сомовской метафорой: «Вообще, так себе про колокол и язык сравнение получается. Мы на Руси знаем, что колокол и высечь розгами можно, и в болоте утопить, и тот же язык у него вырвать —

дело не хитрое. Попробую к епархиально-китайскому диалекту вернуться. В нём есть одно совершенно надёжное слово, что всегда к месту и никем не возбраняется: “чудо”. Чаще только, наверное, “праздник” произносят».

Помедлив, словно прислушиваясь и переставляя эти слова под разными углами, священник записал: «В этот праздничный день мы безмерно рады Вашему чудесному посещению нашего богоспасаемого града. Вы — светозарный чудоноситель!» Болеславлев растерялся. Внимательно и осторожно посмотрел на записанную фразу. Прочитал полушёпотом, словно пытаясь распробовать её на вкус, обвёл ещё одно новосочинённое слово карандашом и поставил над ним вопросительный знак.

«Разберусь с этой фразой после, — сказал себе, — надо определиться, о чём просить у наследника. Похвалили, попросили — таков обычный порядок. Следует, конечно, помянуть монаршую мудрость и просить императорских молитв, но складнее говорить о “попечении”, потому как высочайшая “мудрость” — штука малопонятная и не предсказуемая в своих последствиях. Ждать милости и молитвы — менее рискованное занятие. Никто не знает, сколько необходимо, достаточно и просто “не жалко” их для народа».

«В России, — считал священник, — вообще заведена любопытнейшая измерительная система. К примеру, народ просит замостить дорогу: “Христа ради, положите камень на улице, а то ведь тонем по полгода!” Отвечают: “Молитесь. Бог управит — замостим”. Через год вновь: “Обещали же! В чём заминка? Сил нету больше”. Говорят просителям:

“Плохо и мало молитесь”. Они: “А как надо? И кому? Может быть, нам с кем из земных поговорить? Особо и доверительно?” — “Почему и нет? Можно и так. Но молитв не оставляйте”».

Вздохи, обещания, грубые окрики, перемежаемые нетрезвой словоохотливостью и мелким мошенничеством, — всё создавало огромные препятствия, победу над которыми иначе как чудом и не назовёшь. Посещение Твери наследником могло кое-что из городских неурядиц разрешить, но, о чём просить конкретно, Болеславлев не знал, да и сомневался в самой возможности таких просьб.

Он знал, как умеют в Церкви осторожно замешивать византийскую медовость с русским простодушием, которое впадает то в откровенную циничность, то оборачивается сущей глупостью. Ему приходилось быть свидетелем того, как каскад пустых слов и вымученных эмоций захлёстывали соборных проповедников, ничего кроме своего голоса уже не слышавших. Священник улыбнулся. Припомнился монолог кашинского благочинного, в недавнюю Пасху поздравлявшего архиепископа. Даже слышавший всякое протодиакон в растерянности замер, когда после долгих витиеватых оборотов благочинный выпалил: «Вы, Ваше Высокопреосвященство, у нас, немощных, крепкий столб! Великий неудержимый столб, возвышающийся к небу... И утверждение. Истины, стало быть, в последней её ипостаси. Я когда поутру Господу молюсь, то без устали и передыха твержу: «Дай, Всемилосердный Отец, познать мне волю Твою святую через моего святейшего владыченьку. Веди его крепкою десницей Своей и вложи в длань его посох, а если нуж-

но, то и палицу, хлыст даже, пасти нас, недостойных овец, во славу матушки России, воинства и людей ея. Просвети разум его ещё пуще, дабы он нас, в грехах и ослеплениях погрязших, избавил и к Царству Твоему откомандировал!» Отец Василий тогда особо отметил понравившееся: «разум, требующий пущего просвещения». На некоторое время все эти воспоминания отвлекали и забавляли.

И всё же Болеславлев расстраивался, понимая, что «Приветственное слово» никак не складывается. Он даже, для самоубеждения в удачном исходе дела, представил, как в казенном конверте его набело переписанный текст понесут править архиерею. Владыка откроет, примется читать и, преодолевая весь этот благочестивый шум русских и славянских оборотов, проглатывая окончания тяжеловесных прилагательных и колыхание отглагольных наречий, станет в усердии шевелить губами, перебирая болеславлевские образы-картинки и нужные слова. А если решит добавить что, то сущую ерунду, мелочь. Может быть, Бусурманова позовёт, а тот уже точно покромсает написанное. «Впрочем, — отметил священник, — времени у них совсем мало осталось. Наследник, вероятно, уже в Клину ночует. Так к полудню до Твери доскачет…»

Скрипнула дверь. Дуняша осторожно вошла в дом и, не тревожа отца, отправилась к себе в комнату. Василий Фёдорович решил отложить всё это маяние до утра. Сказал: « Подремлю, а к первым петухам что-нибудь, глядишь, в голове и вызреет». Лег на кровать, не раздеваясь. Закрыл глаза и немедленно провалился в глубокий сон. Ни видений, ни звуков,

ни образов в том сне не приходило. И тишину этого таинственного бытия разорвали не петухи, приветствующие солнце, а чей-то сначала дальний, но после усиливающийся, совсем близкий отчаянный голос, вслед за которым катилась волна колокольного гула. «Война, война, помилуй Господи!» — кричал человек. Он бежал по улице; хлопали открывающиеся окна, кто-то вслед ему спешил за ворота, пытался расслышать слова и понять суть происходящего в эти предрассветные минуты. Колокол усиливал свой голос. Болеславлев вступил в светлеющий сад. Посмотрел на первые проблески солнца. «Ну что ж, опять война. С кем и где в этот раз? За кого погибать и что защищать нам? Бог весть. Пойду в храм. Надо в колокол бить. Наследник нынче не приедет».